

ПРОНЗИТЕЛЬНЕЕ, ЧЕМ "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ"



НАТАЛЬЯ
НЕСТЕРОВА

*Жребий праведных грешниц
Сибиряки*

Annotation

Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого века российской истории. С одной стороны – сельсовет, советская власть. С другой – «общество», строго соблюдающее устои отцов и дедов. Большая семья Анфисы под стать безумному духу времени: хозяйке важны достаток и статус, чтобы дом – полная чаша, всем на зависть, а любимый сын – представитель власти, у него другие ценности. Анфисина железная рука едва успевает наводить порядок, однако новость, что Степан сам выбрал себе невесту, да еще и «доходягу шклявую, голытьбу беспросветную», для матери как нож по сердцу. То ли еще будет...

Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и сестры... Искренние чувства, бурные отношения, горячие нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам сумбурное столетие? Об этом – первый роман трилогии Натальи «Жребий праведных грешниц».

- [Наталья Нестерова](#)
 -
 -
 - [Часть первая](#)
 - [Анфиса](#)
 - [Еремей](#)
 - [Дом](#)
 - [Степан](#)
 - [Сватовство](#)
 - [Прощение](#)
 - [Восстание](#)
 - [Пельмени и сказки](#)
 - [Петр](#)
 - [Марфа](#)
 - [Проходка](#)
 - [В гостях](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Старатели](#)
 - [Данилка Сорока](#)
 - [Яблоки и кавуны](#)
 - [Доктор](#)

- [Нюраня](#)
- [Роды](#)



Наталья Нестерова

Сибиряки

© Н. Нестерова, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Автор выражает искреннюю благодарность всем историкам, краоведам, этнографам, фольклористам, ученым других направлений, чьими стараниями собраны и сохранены бесценные свидетельства о прошлом Сибири.

ОСОБАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Елене Михайловне Дутовой, заведующей отделом краеведения Центральной городской библиотеки города Омска, ведущему методисту отдела Оксане Викторовне Буратынской

Марине Александровне Жигуновой, кандидату исторических наук, заслуженному ветерану Сибирского отделения Российской академии наук.

Ларисе Алексеевне Ивановой, заведующей отделом этнокультурного наследия Историко-культурного комплекса «Старина Сибирская».

Российское могущество прирастать будет Сибирью.

М.В. Ломоносов (1763)

Сибиряки отличаются душевными особенностями: они умны, любознательны, предприимчивы.

Екатерина Великая

Сибирь совсем не Россия. Россия сама по себе, а Сибирь сама по себе.

П.И. Небольсин, русский этнограф, историк, экономист (1848)

Россия, пожалуй, возродится Сибирью. У нас остаются дураки, а сюда едет сметка, способность.

*И.А. Шестаков, Управляющий Морским
министерством (1886)*

Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы и счастливейшей землей.

А.П. Чехов (1890)

...У них [у сибиряков] чрезвычайно, до болезненности, развито тщеславие и какая-то своеобразно-буржуазная и притом дурного тона практичность.

*Т.И. Тихонов, корреспондент «Русского вестника»
(1897)*

Назови мне такое место в мире, где в 25 раз больше людей, исполненных подлинного героизма, любви к свободе, образованных и умных! Такое место в мире – Сибирь!

Марк Твен. «Том Сойер за границей»

Сибиряки – особый тип людей (преимущественно русских), обладающих сибирским характером: сильные, выносливые, трудолюбивые, гостеприимные, демократичные, добрые, щедрые, толерантные, с хорошими адаптационными способностями, любящие мороз и зиму. <...> Все русские сибиряки имеют более крупные размеры по сравнению с русскими европейской части страны.

Энциклопедия Сибири

Часть первая

Омская область, 1923 год

Анфиса

Степан ужинал затемно. Домашние три часа назад встали из-за стола. Работники ушли отдыхать в свою каморку. В горенке находились мать с отцом, брат с женой да младшая сестренка. Степану прощались и опоздания, и неучастие в хозяйственных работах. Степан – власть, председатель сельсовета.

Хлебной корочкой Степан подобрал остатки еды в тарелке. Мать терпеть не могла эту его привычку босяцкую, приобретенную то ли когда со старателями в тайге промышлял, то ли когда служил в Красной армии. Степан поднял голову и застыл на секунду – будет мать его отчитывать или стерпит? Промолчала.

Прежде чем отправить хлеб в рот, Степан сказал:

– Сватов засылайте. Жениться буду.

Руки матери, Анфисы Ивановны, непроизвольно дернулись, но она не всплеснула ими, сложила на груди. Марфа, жена младшего брата Петра, уронила оловянную чашку, и та гулко покатилась в угол. Марфа давно, тихо, безответно любила Степана. Отец, Еремей Николаевич, отложил в сторону доску, на которую переводил рисунок оконного наличника. Петр дурашливо загоготал. Младшая сестренка, тринадцатилетняя Нюраня, подскочила к Степану, радостно смеясь, пристроилась сбоку, обхватила за талию. Нюранин детский смех был чист и уместен, а гогот Петра нелеп и досадлив.

– У, халда! – прикрикнула Анфиса Ивановна на невестку. – Не ты наживала, не тебе колотить!

Оловянная чашка расколоться не могла, и свекровь ругала Марфу для порядку и для того, чтобы получить передышку, осмыслить негаданную радость. Только радость ли? Степану почти тридцать лет, и жениться мать его давно принуждала. Но у сына был один ответ:

– Еще погуляю.

– Погулялка сотрется, – злилась мать.

И подыскивала ему невест, одна другой краше и справней. Ту же Марфу взять – Степану предназначалась, да он наотрез воспротивился. За Петьку сосватали – грех был бы такую работающую девку упускать. Двух батраков уволили, как Марфутка в дом пришла. А Степа, из старательской таежной артели вернувшись, в красноармейцы подался, Колчака бил, потом бунт крестьянский подавлял. Слава Господу, живой вернулся и без ранений.

Опять-таки при власти оказался. Хотя пользы для семьи от его власти – как с воробья сала.

Ничего поделатъ с большаком – так у них старших сыновей называли – Анфиса не могла. Степан не Петька, который по родительской указке жил, а своего ума хватало только сопли подтереть. Степан – мужик самостоятельный, могутный и телом, и нравом, и словом. Его через колено не сломаешь, сам кого хочешь ломает.

– И кто ж тебе глянулся? – спросила мать. – Кому сватов засылать?

– К Прасковье Солдаткиной.

Анфиса Ивановна вспыхнула, точно ей нанесли страшное оскорбление. Рот открыла, а слова не шли, язык не слушался. Огляделась по сторонам в поисках поддержки: муж молчит, только нахмурился слегка, Марфа сгорбилась над тазом, посуду моет, лица не видать, Петька головой мотает – как бы осуждает, но и радуется одновременно, хочет посмотреть, как большаку на орехи достанется. Нюраня испуганно к брату прижалась, он ее по голове гладит, успокаивает.

– Еремей Николаевич! – хрипло потребовала от мужа вмешаться Анфиса Ивановна.

Он только плечами пожал, взял доску и продолжил наносить рисунок. Еремей не боялся криков жены, но не любил ее воплей. А громы метать по каждому поводу и без повода – под настроение – Анфиса была мастерица.

Вот и теперь она, голос обрета, разорялась:

– Спасибо, сыночек! Низкий поклон за большую честь! Порадовал! Перед людьми не стыдно! Ты кого в дом вознамерился привести, окаянный? Доходягу шклявую, ни кожи, ни рожи, голытьбу распоследнюю...

– Мамаша! – предостерегающе поднял руку Степан.

– Что мамаша? Затем тебя мать в муках рожала, чтобы ты позорил ее перед обществом? Нашел невесту, на которую последний пропойца не позарится! Долго искал, сыночек. А то ехал бы сразу в Омск, там в богадельне убогих, да калеченых, да умом тронутых тыщи, промеж них получше Параськи нюхлой кого отыскал бы!

Степан еще раз погладил по голове сестренку, встал и направился к двери. У порога обернулся:

– От желанья сердца женюсь, а не по вашим буржуйским представлениям.

– Не смей мать похабными словами обзывать! – зашлась в крике Анфиса Ивановна. – Дубина стоеросовая! Окрутила его ушлая девка, хочет за наше богатство покористоваться...

Но сын ее уже не слушал. Хлопнул дверью, в сенях надел тулуп, натянул шапку и вышел на улицу.

Гнев Анфисы Ивановны занялся, как дрова в печи, разгорался в полную мощь, требовал выхода. Оглядевшись по сторонам, Анфиса Ивановна выбрала в жертвы Марфу, принялась обзывать ее и винить в грехах надуманных, несуществующих. Марфа покорно, свесив руки вдоль тела, опустив голову, стояла у печи, а потом вдруг простонала горько, прижала к лицу фартук и разразилась плачем, неприлично громким. Все застыли от неожиданности и удивления. Марфа уткнулась лбом в печную стенку и плакала навзрыд. Из-за чего? Если свекровь ругает невестку, за дело или без дела, – это нормально и привычно. Для того и свекровь, чтобы учить молодуху. Слезы невестки – тоже в обычае. Только невестка должна плакать тайно, схоронившись от чужих глаз, а вот так выть положено, только получив известие о покойнике, преставившемся родном человеке. Выплеснуть горе, а потом во второй раз на похоронах зайти в горестном плаче. А когда баба по каждому поводу мокроту разводит – это дурной характер и плохое воспитание, изнеженность. Потому что слезы – от себяжаления, а в крестьянском быту никому не нужна работница, которая своими обидами тешится.

– Ты чего? – растерялась Анфиса Ивановна. – Ополоумела?

– А ну цыть! – подал голос Еремей Николаевич и стукнул деревяшкой по лавке.

Было непонятно, кого он приструнивает – разбушевавшуюся жену или рыдающую невестку. Марфа бочком, по печной стенке скользнула в их с Петром комнату. Следом туда шмыгнула Нюряня. Петр удивленно пожимал плечами и при этом продолжал подготавливать. Все ему весело.

– У! Турка! – обругал Еремей Николаевич жену.

Значит, на нее осерчал. Сердце у Еремы доброе, хоть и ленивое. Ему тишь нужна, чтобы со своими деревяшками возиться, а посторонние или родные люди со своими горестями, да и с радостями, только докука.

Турками в селе звали род Анфисы Ивановны. Когда-то ее предок привез в тамбовскую деревню с войны жену-турчанку. Смуглая, чернявая, глаза как угольки, нос ключиком – чисто птица галка. Может, она по национальности и не турчанкой была, а бессарабкой или албанкой, или с арабских земель – кто ж знает. Но басурманка – точно. Крестили Аксиньей, а звали все Туркой. Православной веры сердцем Турка не приняла, под сарафан штаны ситцевые поддевала, русской речи толком не усвоила, в церкви стояла, точно кол проглотила, деревянной рукой крестилась. Зимой

мерзла до трясучки. Турке, конечно, приписали и дурной глаз, и колдовство-ведовство. Туркина корова молока давала по ведру в день, хотя Турка никогда положенных обрядов с буренкой-кормилицей не совершала. Или свои басурманские приговоры втайне шептала? Если у кого-нибудь скот хирел и подыхал, грешили на Турку как на ближайшего и очевидного виновника падежа. Неизвестно, как сложилась бы ее судьба – за гибель скота могли и жизни лишить, – но Турка умерла третьими родами, истекла кровями. На следующий день преставились и новорожденные близнецы. У крестьянок редко двойни бывали, а у Туркиных потомков с постоянством рождались и с таким же постоянством умирали, крестить не успевали. Это тоже был знак басурманской крови, по общему мнению. Первыми родами и у Анфисы двойня была – маленькие синюшные девочки размером с цыплят, суток не прожили.

В крестьянской среде не хуже, чем в дворянской, помнят, кто какого рода-племени, до пятого колена предков перечислят. Прапрадед был косым, у праправнука глаза правильно смотрят, а все равно Косым кличут. Пришлые же, вроде Турки, про которых ничего не ведомо, были обречены на подозрительность и недоброжелательство.

После Турки остались двое детей, мальчик и девочка, Анфисина бабка. Их тамбовская деревня была казенной, то есть крепостной, но царю принадлежащей. Прадед, Туркин муж, как отставной солдат получил вольную, и его потомство, соответственно, тоже. Это не добавляло любви к Туркам. Правда, вскоре, еще до общей отмены крепостного права, вольную получили все. В жаркий и ветреный июльский день деревня сгорела до последней сараюшки. Дикий пожар не пощадил пашню и лес. Правительство не бросило крестьян, а переселило на берега реки Иртыш.

О трехлетнем пути в холодную и страшную Сибирь Анфиса знала из рассказов бабушки Феклы. На тракте дежурные избы стояли только в казенных деревнях, где имелось Общество – местная сельская власть, которой вменялось кормить путников, но еда была скудной, и на всех не хватало. В помещичьих деревнях пропитание можно было получить лишь за работу или Христа ради. Бабушку – тогда ей семь или десять годков было – посылали побираться, она ходила просить кусочки, а брат Вовка отказывался нищенствовать, но отбирал у нее, не успевала донести мачехе, тяте и младшей сестренке, которая уже от второй, русской, жены родилась. Почему-то бабушке более всего запомнилось, как Вовка отнимал у нее скудное подаяние и самолично съедал его торопливо и жадно – точно щенок бродячей собаки.

Анфиса помнила деда Владимира: чернявый, как все Турки, худой,

длинный – огробистый. Шуткуя, он сгребал в кучу малолетних внучат и внучатых племянников со словами: «Не улов, да на ушицу эти мальки сгодятся!» – поднимал их и делал вид, что хочет в котел бросить. Ему было уж за семьдесят, а в длиннющих костляво-жилистых руках сохранялась железная хватка. «Мальки» с криком вырывались, рассыпались по земле и неслись наутек. После смерти родителя, прадеда Анфисы, Владимир стал главой рода, взял на себя ответственность за всех потомков, следил, чтобы помогали друг другу, и сам работал истово до смертного часа. Однако бабушка Анфисы, как само собой разумеющееся принимавшая служение Владимира семье, нет-нет да и кривила рот: «Вовка-то, когда в Сибирь шли, сам не побирался, а у меня Христа ради кусочки поданные отбирал. И сжирал!»

Было это и осталось в туркинской породе: они признавали только те авторитеты, которые сами определили. И еще: в каждом человеке, сколь бы ни было безупречным его поведение, находили изъян, слабость, чувствовали потаенность какого-то давнего греха и смотрели на всякого с характерным туркинским прищуром – я-то знаю, от меня не укроешься.

Сибирь оказалась не такой уж страшной. Летом жара была не слабее тамбовской, а зима хоть и наступала рано, но держалась крепко, без оттепелей и слякоти. Зимой часто светило яркое солнце, и в безветренную погоду деревня с заснеженными домами, лес с вековыми соснами и елями выглядели сказочно. А самое главное – земли в Сибири было сколько хочешь, сколько сумеешь поднять и обработать. Староста распоряжался: «Бери от сосны до того места, где сорока летит». В России, на Тамбовщине, у многих и хлева-то не было, корову в избе доили, кур на крышу запускали кормиться соломой.

Крестьян определили на поселение в излучине Иртыша, на месте давно покинутого, вросшего в землю, обветшалога казачьего форпоста, названия которого никто не помнил. Деревенька же стала носить имя Погорелово. Версий происхождения названия насчитывалось три, потомки о них спорили, хотя на самом деле просто совпали несколько обстоятельств и каждая версия была правдивой. Во-первых, они были погорельцы. Во-вторых, расселились по горе, пусть и не высокой, густо заросшей лесом, и называлась она незамысловато – Гора. В-третьих, губернский чиновник Кузьма Митрофанович Погорелов сыграл столь значимую роль в судьбе тамбовцев, что увековечивание его памяти в названии – слабая плата за великие благодеяния.

Погорелов не был типичным царским столоначальником, то есть

бездушным бюрократом, казнокрадом и кровососом. Он в чиновники попал из горных инженеров. Это совершенно особая каста отчаянных русских покорителей Урала и Сибири, бессребреники, которым хоть и полагалось потомственное дворянство, да мало кто им воспользовался. Семьями такие люди обзаводились редко, наследников не имели, надрывались в непосильном труде, усталость снимали известным способом – с помощью вина. Умирали, не перевалив и за сорок прожитых лет. У Погорелова не было правой руки, левой ноги и одного глаза. Вроде бы пострадал на аварии в шахте. Однако поговаривали, будто конечности ему отрубил и глаз выколол купец, с женой которого Погорелов путался. Но, если поразмыслить, купец-то совсем другую часть тела отсек бы греховоднику. Так или иначе, двадцатипятилетний чахоточный калека мириться с инвалидностью не хотел и на пенсию уходить не желал, добился, чтобы его пристроили на мелкую чиновничью должность в губернаторстве. И ему даже предоставили хлебное место – надзирать за переселенцами. Но благодетели сильно просчитались, понадеявшись получить со своего ставленника доход. Суматошный, крикливый, взрывной и заполошный Погорелов и не подумал набивать собственные и благодетельские карманы. Его главный «принцип» был таков: «Всё по закону государеву!» То есть что переселенцам положено, то вынь да положь. Вице-губернатору делалось дурно, когда в его кабинет врвался одноногий, кривой, немытый и дурно пахнущий, в мятом грязном мундире Погорелов и с ходу начинал вопить про государевы указы, которые «всякая подлая вша под хвост себе норовит засунуть». Кузьма Митрофанович, отчаянный сквернослов, в присутствии начальства все-таки не матерился. Под единственной рукой у него был костыль, в пальцах – бумаги. Во гневе ему требовалось жестикулировать, тогда он зажимал бумаги зубами и размахивал костылем в воздухе. Бубнил при этом так, что речей было не понять, но становилось жутко. А еще случалось, его сотрясал неукротимый кашель. Потеряв равновесие, Погорелов падал на пол, корчился, прибегали коллежские асессоры, поднимали его, кровавая пена изо рта брызгала на документы... Вице-губернатор был согласен на все и даже на большее, только бы не видеть подобных представлений.

Кузьма Митрофанович с подопечными «томбашами» вовсе не церемонился и не относился к ним как добрая нянюшка к любимым дитяткам. Самым ласковым его обращением было «холопы безмозглые». Насквозь больной калека, он стрелял единственным глазом вслед каждой красивой бабе. Преставился от чахотки, успев обеспечить переселенцам надежный старт. Для казны это была мелочь, для крестьян – жизненная

потребность. Семенной материал, скот, инструменты, оборудование для кузни, мельницы – все это позволило им уже на пятый год выбраться из землянок и начать возводить крепкие дома.

В нескольких поколениях погореловские бабы вставляли имя Кузьма в поминальные записки об упокоении. Многие уж и не знали, кто такой этот Кузьма, но бабушка и мама велели поминать – знать, рай небесный этот человек заслужил.

Через десять лет от начала поселения в Погорелове возвели храм, и деревня стала селом – центром прихода. По любым меркам, это было очень скоро и говорило о том, что люди здесь обосновались всерьез и надолго, из тамбовских погорельцев они превратились в погореловцев-сибиряков.

Анфиса родилась в 1871 году, когда минули лихолетья поднятия целины и произошло расслоение на крепкие хозяйства, середнячков и голытьбу. Первичное расслоение происходило исключительно по деловым признакам. Работящие семьи со сметливыми хозяевами во главе рвали жилы и выбились в богачи; те же, кто не трудился на пределе возможностей или сметкой не обладал, по меркам среднерусской деревни были кулаками, а по сибирским стандартам – середнячками. Три коровы, пять лошадей – какое такое великое богатство? Лодыри и лишенцы – потерявшие кормильцев – составили низший слой, голытьбу. Последних было немного.

Анфисины детство и юность пришлись на время стремительного наращивания богатства, когда о тяжести первых сибирских лет остались только предания и каждый год приносил умножение достатка. Туркины считались одной из самых зажиточных семей в Погорелове, у отца Анфисы имелось три сотни голов скота и тысячи пудов хлеба в амбарах. В туркинском потомстве, за редким исключением, вроде нежизнеспособных близнецов, были крепкие, здоровые дети. Вырастали могучими, что парни, что девки, широкими в кости, сильными и до работы злыми. Все, как по шаблону, с густым непролазным черным волосом, с темно-кариими глазами и носатые. У расплодившихся потомков фамилии были разные, но Турок угадать можно было безошибочно. Басурманская кровь, смешавшись со славянской, давала устойчивые признаки, поглощая и растворяя новые вливания.

Всем женщинам-Туркам приписывали способности к ведовству, хотя ни одна из них ведовством никогда не занималась. Анфиса не была исключением. Она знала о лечебных травах не больше, чем любая другая деревенская женщина, приговоров-заговоров не сотворяла. Но при случае могла припугнуть враждующую соседку:

– Гляди, Манька! Плюну на твою корову!

И шла Манька на попятную, боясь, что останется корова яловой, то есть не беременной, корми ее задаром, или ногу подломит, или, хуже того, подхватит болезнь дурную, весь домашний скот перезаразит, в общее стадо их не допустят. С Фиской-Туркой лучше не связываться.

Однако славы бабы сглазливой Анфиса ой как не желала. Поэтому вела себя хитро. Сглаз, он же порча, как известно, – это похвала. Похвалила сглазливая баба ребятенка – он орет ночи напролет. Доброе слово девке сказала – у той ячмень на глазу вскочил. Анфиса не раз намекала, а то и прямо заявляла, что в ее воле сглазить, а захочет – полдня хвалить будет на большую пользу в дальнейшем.

Анфисе нравилась власть над людьми, льстило, когда ее боялись, то есть уважали. Но было нечто, чего страшилась сама Анфиса. Она обладала необъяснимым даром предчувствовать смерть или выздоровление больного человека. Посмотрит на хворого, рукой его погладит, и внутри голос зазвучит: «Не жилец!» или «Выкарабкается!». Это был даже не голос, а какое-то понятие, вдруг вспыхнувшее знание. Анфиса никому про свои прозрения не рассказывала, но все и так знали, что она кончину или исцеление видит. В селе такие способности не утаишь. Лечить Анфиса не любила. Все эти травки-муравки, притирки-растирки требовали кропотливости и внимательности. Анфиса же была масштабной натурой, с размахом. Большим хозяйством руководить – это для нее, тем паче что муж большей частью на отхожем промысле пребывает.

К Анфисе Ивановне обращались за помощью в безвыходном положении. Болеет взрослый или ребенок, а на дворе межпогодье: река не стала, зимнего пути нет, на дороге грязь по колено – не то что до земского врача в сорока верстах не доберешься, в соседнюю деревню к знахарке не доползти. И бежали к Анфисе, в ноги падали, умоляли. Она шла, хмурая и злая, потому что страшилась собственного дара, особенно если внутреннее знание плохой приговор вынесет. Суеверно боялась, что умирающий ее саму на тот свет утянет, как в воронку засосет. Она входила в дом, приближалась к беспмятному больному, брала его за руку, и если внутри вспыхивало: «Не жилец!» – тотчас уходила, бросив на прощанье:

– На все Божья воля.

Если же она чувствовала, что хворь отступит и человек поправится, мгновенно становилась добрее и мягче. Приступала к «лечению» – брызгала святой водой и читала молитвы, иных способов врачевания она не знала. Но что хорошо понимала – родных нужно занять, чтобы бегали, суетились, хлопотали, бездействие для них хуже пытки. А поскольку все

известные приметы еще до прихода Анфисы были уже истолкованы, обряды выполнены, народные средства применены, Анфиса выдумывала новые. Она хорошо разбиралась в человеческой натуре и была не лишена своеобразного чувства юмора, если и имевшего отношение к смеху, то к недоброму, отчасти издевательскому.

Одной матери достаточно было сказать:

– Перебери овес, из самых крупных зерен кисель свари, по ложке дитяtku давай. Только смотри, самые крупные зерна! Из мелких не поможет.

И сидела мать, мешок за мешком овес перебирала. Успокаивалась, верила – Анфиса ведь никогда не ошибается. Вон у Федора Лапотника спину колесом скрутило, ни сесть, ни встать не мог, на крик кричал от боли. Так Анфиса сказала, что ему надо душегрейку из собачьей шерсти связать и чтоб обязательно от дюжины собак шерсть была. Жена и дети Федора по всем дворам носились, кобелей вычесывали. Помогло!

К обычаям и обрядам в крестьянской среде относились как к непреложным законам, смысла которых понимать не требовалось, а исполнять следовало неукоснительно. И все-таки некоторые обычаи-ритуалы, привезенные из Центральной России, в Сибири упрощались, скукоживались.

Перед первым весенним выгоном скота тамбовская крестьянка поутру священнодействовала в хлеву с вербными веточками, сохраненными с Вербного воскресенья. Бабушка Анфисы, простоволосая, босая, в нижней рубахе, закончив обряды в хлеву, выходила во двор, оседлывала палку и скакала на ней кругами. Потери единственной коровы-кормилицы или коня боялись больше чумы. Про чуму только слыхали, а голод всегда стоял на пороге. Но в Сибири скота было много. На дальних пастбищах у Анфисы более ста голов кормилось. До революции, конечно. Простоволосой по двору она не скакала, но в день первого выгона вместе с другими бабами приносила подарки лесным хозяевам. Шли в лесок за пастбищем, выбирали деревце, клали под него хлеб, сахар, завернутые в тряпицу, и приговаривали: «Вот вам гостинец, примите мою коровушку, напоите, накормите и вечером домой отправьте». Обратно в деревню следовало идти вприпрыжку, как бы изображая скачущее животное. К сорока годам Анфиса располнела, и рысью передвигаться ей было тяжело. Подскакивая, мысленно бранясь, думала: «Не иначе как эту иноходь придумала пересмешница вроде меня».

Приезжие удивлялись, что в Погорелове псины не кудлатые, а гладко

расчесанные, точно девки молодые, которые с непокрытой головой бегают. А это по Анфисиному «рецепту» бабы впрок собачью шерсть заготавливали и между собой обменивались, чтобы набрать от многих кобелей. Крестьянская работа тяжела, спины надрываются – без надежного лечения не обойтись. И никого не останавливало то, что сибиряки вслед за староверами прежде считали собаку грязным животным и шерстью ее «морговали» (брезговали).

С молодости Анфиса была грубоватой, неуклюжей, отчасти мужеподобной. Не певунья, и танцевала, как соломѹ в глину утаптывала. Лицо красивое, но будто из твердого дерева вырезанное – прочно и навеки. Сказок, былин и быличек она не знала да и не любила, как не любила все непонятное, вроде нравоучительных притч – их мораль казалась Анфисе столь примитивной, что закрадывалась мысль, будто от ее понимания ускользнуло что-то важное. Словом, это была натура не поэтическая, женщина, твердо стоящая на земле. Единственной ее уступкой непонятному и недоступному – другому взгляду на мир – стал муж Еремей.

Еремей

Отец Еремея Медведева был из чалдонов – коренных сибиряков, чьи предки поселились за Уралом еще до похода Ермака. Как и отец, промышлявший охотой и рыбалкой, Еремей не жаловал крестьянского труда. Мать происходила из состоятельной семьи тамбовских переселенцев, но была хроменькой – в детстве упала, сломала ногу, кость срослась криво, и без палки мать не передвигалась. Незавидную невесту сосватали за чалдона – спасибо, что взял. Богатое приданое быстро проели, зверья и рыбы – добычи отца – хватало свести концы с концами. Подросткового Ерему мать загоняла на крестьянские работы палкой – била своей клюкой. Кроме Еремы-большака у матери еще трое по лавкам сидели, мал мала меньше. Ереме было восемь лет, когда отец не вернулся с охоты. «Медведь в лесу задрал», – так говорили о пропавших в тайге. Заботу о семье, потерявшей кормильца, взяли на себя дед с бабкой, мамины родители. Жить стали лучше, сытнее, но подневольно. Их не попрекали куском хлеба или обновками, хотя всегда давали понять – из милости живут. Это шло не от душевной черствости или жадности. Крестьянские дети должны с пеленок знать: всякий достаток и богатство приходят благодаря тяжелой работе. А если ты к работе ленив или сирота, то получаешь из милости. За милость надо быть благодарным. Неблагодарный человек хуже колодника. Ссылным каторжникам, которых гнали через село, оставляли за заборами еду и старую одежду. Те дрались за эту христианскую милостыню и никогда не благодарили.

Смышленный Ерема быстро научился читать и складывал в уме большие числа, умилял богомольную бабку тем, что мог за вечер выучить длиннющий псалом. Но работы, на которые привлекали детей (гусей пригнать, дрова сложить, воды скоту наносить), выполнял из-под материнской палки, норовил улизнуть. Сбежит в лес, найдет корягу, лишнее уберет, отполирует, и глядь – получился старичок с котомкой. Угольком на доске почиркает – вылитый петушок зарю горланит. Все эти таланты в предстоящей Еремею жизни (мать инвалидка и трое младших братьев-сестер, которых придется содержать, дед-то с бабкой не вечны) были бесполезны. Однако дед уступил просьбам десятилетнего внука и отпустил его учеником в плотницкую артель. За это мудрое решение Ерема навсегда остался благодарен деду. Больше, чем за хлеб-соль для сиротинушек.

Первые годы в артели были тяжелы. Сибирское лето коротко – чтобы с подрядами справиться, трудиться надо от утренних сумерек до вечерних, на сон пять часов приходится, не больше. Мужики в артели не мать родная. Та хоть и кричит, но любя, и палкой лупит понарошку, не больно. А мастер или любой из плотников-столяров за малейшую задержку двинет по башке – на три метра улетишь. Покалечить не покалечат, но весь в синяках будешь. Ничему Еремея специально не учили, азов не объясняли. Умный – сам скумекает. Глупый – так и останется на «дай-принеси». В артели те парни, что на побегушках, особо придирчивы и дерутся больно. Ерема был умный и упрямый, главное – рукастый. Мастер это заметил, около себя ставил, запретил уж очень сильно и часто ученика пинками воспитывать. С тринадцати лет Ерема помогал резчику по дереву, потому что без лекал помнил узор наличников. В пятнадцать ему вздумалось сочинять свои мотивы, за что он был сначала жестоко порот – «не тебе, сопляку, вековечное мастерство поганить», – а потом мастер его придумки ловко вплел в свою работу. Заказчикам ведь всегда хочется противоположного: и чтоб как у людей, и чтоб лучше.

Кроме дерева, породы которого, их плоть и душу чувствовал тонко, Еремей любил всяческие механизмы. Его завораживало устройство часов, швейных машин, не говоря уж о сеялках и валяльных станках. Он подсмотрел в одной деревне у переселенцев-хохлов устройство ткацкого станка, позволявшего ткать полотно тонкой и прочной выделки, зимой сделал такой же матери. Она вначале руками махала – не хочу, не буду, глупости все это! За станок села и учиться принялась от стыда: кто в дом зайдет, увидит сына-большака за станком – засмеет. Потом десятки раз вслух и мысленно благодарила Еремея, когда за ее полотном очередь выстроилась. При ее хромоте сидячая работа была спасительным облегчением. Бабы-соседки с поклоном приходили: не построит ли для них Ерема такой же станок? Опять-таки уважение, редкое по ее вдовому состоянию.

Ерема еще два станка сделал, а потом охладел:

– Пусть сами мастерят, образец перед глазами.

Это он про деревенских мужиков говорил. И никакие посулы, привлекательные цены не могли заставить Еремея переменить решение. Если он к чему-то терял интерес, то необратимо. Снова вернуться к пройденному соглашался, только когда это пройденное можно было изменить кардинально, неожиданно.

Во время зимнего домашнего пребывания его часто звали чинить маслобойку, или молотильную машину, или амбарный замок, приносили

запаять сломавшиеся сережки или треснувший оклад иконы. В Еремее признавали умельца, но никто не видел в нем выдающейся личности. У Еремы Медведева был серьезный недостаток – оторванность от земли, с малолетства пребывание на отхожем промысле. Кроме того, в селе любой справный мужик – на все руки мастер. Иными словами, каждый все умеет, но что-то умеет лучше других. Игнат в конской сбруе сметлив – подлатает, новую покупать не надо. Петр зимние сани, которые набок заваливаются, в одном месте подстрогает, в другом подобьет – птицей летят по снегу. Зинку приглашают, когда для особых гостей караваи пекут, у нее на опару рука легкая, а у Татьяны – на посадку рассады овощей. Мать Анфисы могла точно предсказать, околет заболевшая скотина или выздоровеет, забивать или погодить. Анфиса потом с людьми то же самое умела, но и ту и другую просить – наплачешься, только в крайности придут.

Летом 1888 года Еремей находился дома, потому что ранил руку и она загноилась. Из артели не отпустили бы – и с одной рукой найдется занятие, но тут бабушка преставилась. Дед, за которым никогда не замечали особой любви к жене, вдруг лицом перекосясь, и нога у него отнялась. Стал точно ребенок плаксивый, все искал и звал бабушку. Шкандыбал с клюкой на пару с матерью, у которой опухли и сильно болели суставы. Дядья и тетки Еремы уже присматривались-примеривались к разделу родительского наследства. Мать написала слезное письмо Ереме, а следом его мастеру: пусть сыночек приезжает, без большака ее семейству, деткам-сироткам полная погибель. Ерему отпустили.

Сушь в то лето стояла небывалая, дождей с начала мая не было. На заливных лугах обычно к первому покосу сочная трава выше колена поднималась, ей хватало влаги в напитавшейся водой земле. Но солнце, палившее как перед концом света, сожгло зеленя. Первого покоса не случилось, во второй обязательно нужно было убрать и сохранить чахлую траву, иначе скот погибнет. Стало ясно, что потребуются перестроить привычный календарь работ, что, как только ляжет первый снег и скот уйдет с подножного корма, начнется массовый убой. Нужно было рассчитать количество корма на число скота, который следует оставить, выбрать из него самый продуктивный, договориться с купцами заранее о цене на убой, продать прошлогодние излишки зерна по выгодной цене, потому что в России тоже засуха, оставить семенной фонд и запас, а сбывать его уже по небывалой цене ранней весной.

В любые времена есть малое число удачников, которые после кризиса становятся богаче, и большое число неудачников, которые становятся

беднее. Зависит от умения думать, считать, соображать.

– Сображай! – тыкала мать клюкой в Ерему. – Кроме тебя некому. Я с детишками при батюшке отдельным домом, но сестры с братьями уже наво́стрились. Всё заберут, подметут, а мы опять в приживальщиках. Ерема! Христом Богом умоляю! Не дай нам худой доли!

– Что вы, мамаша, лишнее говорите?

– Лишнее? Вот смотри! – Она задрала подол и показала свою ногу – уродливо кривую, с пухлыми красными суставами, со вздувшимися синими венами. – Как болит, только я знаю. Даже Бог не знает, иначе не допустил бы таких страданий. Все ради вас, ради детишек!

– Я-то при чем? – глядел в сторону пораженный Ерема. – Я что могу?

– Дедушка тебя наследником признает. Дедушка скажет, при всех скажет, я его подговорю. Но тут, Ерема, или пан или пропал, как ты распорядиться сумеешь. Зима идет!

Ерема невольно посмотрел в окно. Во дворе было пекло. Куры, точно дохлые, валялись в тени, сомлевшие дворовые собаки, как подстреленные зайцы, лежали кверху пузом, раздвинув лапы.

На сенокос выходила вся деревня, от мала до стара, дома оставались только немощные, кто не мог передвигаться. Траву сбрасывали в негодьях, в перелесках – везде, где можно было найти хоть клочок. Работать под палящим солнцем было до одурения тяжело: перед глазами плыло, тело саднило; одежду, пропитавшуюся соленым потом и задубевшую, прокусывали оводы и слепни, тучей кружившие вокруг косарей. А молодым-холостым что жара, что стужа – все нипочем. После работы водили хороводы до утренней зари. Костров не разжигали: за открытый огонь могли не просто на казенный суд – к исправнику – отправить, а выгнать с позором из села. Разойдутся после гулянки, пару часов прикорнут и снова на покос. В обед, перекусив, замертво падали, спали в тенечках крепко, пинками только разбудишь, когда снова на поле выходить.

В тот день были «помочи» – по решению общины заготавливали сено для лишенцев, семей, не имевших кормильцев. Обычно женщины-вдовы за сено батрачили, но в этот год никто сеном расплачиваться не станет, весной оно будет на вес золота. Расплачиваться не стали бы, а выйти на помочи – святое дело. Еремей, временно одорукий, трудился вместе с женщинами и девушками, ворошившими сено. В послеобеденный отдых Еремей оказался рядом с Анфисой – в чахлой тени березок, на которых от жары высохли и скрутились листья.

Анфиса, набросившая на лицо сетошник – редкого плетения холстину

для защиты от комаров и мошек, – плавно погружалась в блаженный сон, когда услышала:

– Красиво!

Она сдвинула с глаза сетошник. Рядом лежал Еремей Медведев и глядел в небо.

– Чего красиво? – спросила Анфиса.

– Небо и облака.

Он лежал на спине, помахивал веточкой, отгоняя гнус и глядя с восхищением прямо перед собой.

Анфиса этим летом часто смотрела на небо – не появится ли долгожданное грозовое облако, не прольется ли дождь. Но что красивое можно увидеть на небе? Оно же всегда над тобой. Красивыми бывают наряды, украшения, свадебные караваны, украшенные резьбой прялки – словом, то, что сотворено человеком. А небо выбеленной голубизны, по которому плывут редкие белые облачка? Ничего особенного.

«Дурак!» – хотела сказать Анфиса, но почему-то только фыркнула:

– Чего там красивого?

– Облака – как заготовка для лепнины. Я в городе видел лепнину на домах, из материала гипса. Красиво. Вот бы взять облако и сделать из него колонну или балясину или посадить на крышу...

– Дурак! Кто же облако достанет?

– Никто, – вздохнул Еремей. – Это я просто так, мечтательно.

Анфиса повернулась на другой бок, но сон пропал. Было почему-то тревожно, непонятно. Анфиса не любила непоняток. Еремей, конечно, с придурью, как все мастеровые, которые на отхожем промысле, испорченные отлучкой от дома и от крестьянской работы. Но какое ей дело до Еремея или облаков? Мало ли на свете умалишенных, которые на небо смотрят и улыбаются блаженно? Однако непривычное теснение в груди не проходило, Анфиса снова развернулась к Еремею:

– Ты чего не спишь? Думаешь, как до облаков допрыгнуть?

– Они еще похожи на пирожны. Это как пряники. Я в Омске видел в хлебной лавке. Пирожны ходят на твердые облачка, точно эти, – ткнул он в небо, – снизу подбиты, плоские, а сверху кудрятся, только цветом не снежные, побурее. Я приказчика спросил, он сказал, делается из яичных белков, сбитых в пену, потом сахар, до муки толченный, прибавляется, и все в печи обжигается. Вкусно, наверное.

Мужику говорить остряне стыдно. Мужики не входят в куть – закуток у печи, где готовится еда, – там хозяйничают только женщины. А Ерема, не краснея, рассказывает, как чудо-пряники делаются. Анфиса

собралась сказать, что думает о мужиках, которые в казаны нос суют, но не успела.

Еремей поднялся:

– Жарко, пойду искупаюсь.

– Ты это... – замялась Анфиса, – руку не мочи.

– Не буду, – улыбнулся Еремей.

Просто улыбнулся – как всякому, а не лично Анфисе, которая привыкла к улыбка-похвале, к восхищению.

Анфиса твердо знала, что она первая красавица, что, помани она парня, тот побежит как наскипидаренный. Уже три раза к ней сваты приходили. Один ссыльный дядечка из благородных даже назвал Анфису царь-девицей. А тут про облака-лепнину-пряники Ерема говорил будто сам с собой, а не чтоб на нее впечатление произвести. Она к нему с вопросами, то есть с интересом – должен был хвост распушить, а он купаться ушел. Анфису невнимание Еремея задело, но он был все-таки не единственным, на кого ее чары не действовали, и уж никак не выгодной партией.

Вечером солдаты и вдовы, которым заготавливали сено, по обычаю накрыли благодарственное угощение. На поляне расстелили холсты, расставили закуски, бутылки с наливкой для баб и самогон для мужиков. Анфиса подгадала как бы невзначай оказаться рядом с Еремеем. Он держался просто и с Анфисой, и с беременной бабой, что сидела по другую сторону от него, разговаривал одинаково вежливо. То есть, никак не оценил счастья находиться рядом с самой завидной сельской невестой.

Отступив от своего правила не выказывать первой интереса, Анфиса спросила Еремея:

– Хороводить придешь?

Это замаскированное приглашение было высшим комплиментом, на который когда-либо расщедрилась Анфиса. Но Еремей ответил на вопрос прямо и коротко:

– Недосуг.

Анфиса вспыхнула, беременная баба захихикала, а Еремей, не заметив своей бестактности, продолжал жевать пирог с рыбой.

Оскорбленная Анфиса решила выкинуть его из головы – подумаешь, нашелся королевич! Обглодыш! Чтоб его клеймило! Однако от мыслей о Ереме избавиться не получалось, крепко зазнобил ее мастеровой мечтатель. Анфиса жила как в чаду, но и в хитрости: караулила Ерему, чтобы невзначай с ним встретиться, прокладывала маршруты мимо его дома, на вечерах и гульбищах вертела головой – не покажется ли мучитель ее

души. Не показывался. Любовь принесла Анфисе не радость и веселье, а сердечную тоску и страдание. Долго страдать она не умела, да еще и перспектива пугала: уедет Еремей в артель, а она что же? С тоски чахнуть будет?

Пришла как-то поздно ночью после гулянки злая и решительная, растолкала спящих родителей, огорошила:

– Замуж хочу! Пусть Еремей Медведев меня сватает.

Мать с отцом спросонья хлопали глазами. До них не сразу дошла возмутительность Анфисиного требования.

Женили молодых, когда приходил срок. Почти как сводили скотину – по беспокойному поведению коровы, овцы, свиньи или козы точно видно, когда ее следует покрывать. То есть, наблюдали за самками, а племенные самцы были вечно наготове. С молодежью наоборот. Чудит парень, озорничает, к солдатам бегают – пора женить. А девка не корова, которая десять – двенадцать часов расположена к быку, а потом лягается. Девка никуда не денется, девку не спрашивают, когда ей замуж хочется, могут и в двенадцать лет, от кукол оторвав, просватать, коли есть выгода. Хотя, конечно, если девка долго томится, может в подоле принести. При всех вариантах самой девке замуж проситься и мужа выбирать – неприлично.

Анфиса была дочкой незаласканной, но балованной. Заласканная – ленивая, а Анфиса трудилась до седьмого пота. Однако требовала, чтоб у нее были самые лучшие украшения, одежда, обувь. И не домодельные, а обязательно фабричные, городские. Даже на работы Анфиса поверх рубахи надевала не паневу, телогрею или душегрею, а «парочку» – юбку с кофтой. Если Анфисе чего-то хотелось (новую блузку из тафты, с застежкой под горло на жемчужных пуговичках и с воздушными петельками), то родителям было проще удовлетворить ее желание, чем терпеть в доме злую Анфису, чья властность постепенно набирала силу, и уж кроме батюшки никто ей слова поперек не мог молвить.

Мать с отцом поначалу испугались: вдруг девка не убереглась – тяжелая, на сносях? Но Анфиса только фыркнула в ответ на подобные домыслы. Тогда ей стали пенять, что, мол, стыдно девушке замуж проситься.

– Языком не мелите, и никто не прознает, – ответила Анфиса.

Ей справедливо указывали на то, что Еремей Медведев – партия незавидная. Мастер-то он, конечно, мастер, без куска хлеба не останется, но его приработки ненадежные. Расплачиваются с мастером продуктами,

скотиной, полотном или деньгами. Чтобы хорошо расплатились, надо иметь понятие и сметку. Отсыпят тебе сто пудов зерна, а оно порченное; скотину пригонят, а она хвора. Деньги, понятно, большую силу имеют, но все-таки бумажки, в рот их не положишь. Полные закрома, своими руками обеспеченный достаток – надежнее. Мастер дома почти не живет, а хозяйство держится, только если твердой рукой управляется.

– Не дури! – подвел итог батюшка, полагая, что убедил дочь. – Ишь, вылупилась самосваха! Найдем тебе справно́го жениха.

– Мне, окромя Еремея, другой не нужен. Не просватаете за него – сбегу или утоплюсь!

По решительному виду Анфисы было понятно – сбежит или утопится. Эту девку не остановишь, коль вожжа под хвост попала. Анфисе в тот момент и самой казалось, что ради Еремея она способна на любой подвиг. Хотя интерес к странствиям ее никогда не посещал и мир за околицей деревни не очень-то интересовал. Утопиться она никогда бы не осмелилась – вода в Иртыше холодная, да и глубины Анфиса боялась. Но выглядела дочка и правда решительно.

Родителям ничего не оставалось, как подчиниться ее капризу. Хромой Медведихе через третьих лиц дали понять, что если ее сын посватает Анфису, то получит согласие. Мать Еремея была на седьмом небе от нежданного счастья. И сам Еремей понимал, что жениться надо. Если у него будет своя семья, дедушкино наследство станет законным – одно дело отписывать имущество холостому внуку, иное – молодоженам. Больной матери нужна помощь; деду, младшим сестрам и брату – пригляд. Но остаться в деревне, крестьянствовать Еремей не желал.

Он уже познал соитие с женщинами. Первый опыт, когда артельщики повели его к веселым, то есть продажным, бабам, вызвал только рвотные ощущения: вонючие пьяные тетки, годившиеся ему в матери, беспамятные, пускавшие слюни и извергавшие ветры... Еремей хотел было наплевать на возможные насмешки артельщиков и навсегда отказаться от посещения веселых баб. Но однажды его прошибла жалость к одной из лишенков. Потасканная, со следами былой красоты на опухшем от пьянства лице, с неизвестно от кого прижитыми уродливыми детьми, покрытыми коростой золотухи, она топила свою горькую долю в вине, губила жизнь яростно и отчаянно. Еремей неожиданно испытал к ней сильное влечение, потерял голову, не замечал ни воню, ни грязи. Потом повторялось: разберет жалость – и мужицкая сила просыпается. Еремей внутренне мучился: «Что ж я? Крокодил паскудный?» (Один подрядчик как-то ругался: «Я вам не

крокодил зареванный». Еремей потом выяснил у подрядчика про крокодила: животное в заморских странах, вроде Змея Горыныча из бабушкиных сказок. Когда крокодил крокодилицу покрывает, плачет от жалости.)

Это внутреннее бичевание было в ряду многих других мучений, которые, всегда тайно для окружающих, терзали Еремея. Он страдал, потому что не мог воплотить свой замысел в дереве, потому что материал капризничал, не поддавался, не раскрывал своих секретов; страдал, потому что не мог разгадать задачи некоторых маленьких деталей в часовом механизме; он хотел бы писать картины, но не ведал секретов того, как закрепляются краски на холстине; он восхищался природой, мечтал ее перещеголять и подозревал, что этого никогда не получится. Тайные демоны сомнений, борений и несбыточных желаний никогда не покидали Еремея. И не было человека, которому он мог рассказать про этих демонов. Из-за внутренних борений Еремей часто выглядел вялым, примороженным, безразличным к тому простому и земному, что составляло интерес жизни других людей.

Анфиса в качестве жены была не хуже и не лучше других девушек – ко всем Еремей был одинаково равнодушен. Но ему было приятно услужить матери, которую перспектива породниться с Турками буквально вылечила – даже ноги стали меньше болеть. Такой радостной мать Ерема никогда не видел. Пусть потешится старушка.

Чтобы не оскандалиться в постели с молодой женой, Еремею нужно было за что-то ее пожалеть. Однако царь-девица Анфиса никак не вызывала жалости. Еремей и так и сяк кумекал: мысленно называл невесту заводной деревянной куклой, которой, бедняжке, недоступна красота Божьего мира, – не выходило, не возникало желания взять Анфису. До последнего боялся, что опозорится. Только после застолья, когда их проводили на брачное ложе, когда увидел испуганные глаза жены, ее руки, стиснувшие ворот сорочки на груди, расслабился: получится!

Анфиса не поняла его слов: «Эх ты, милая моя крокодилица!»

Муж и потом повторял про крокодилицу, перед тем как начать пихаться. Анфиса допытывалась, про кого это он. Еремей уходил от ответа.

На словах Анфиса сотню раз прокляла свое замужество и супруга, которого вечно дома не было, а все хозяйство на ней. Но в сердце никогда не жалела о своем выборе. Малохольный Еремей, бесчувственный к важным событиям, вроде пожара в сеннике, чуть не погубившего все хозяйство, и не по-мужицки распустивший слезы, когда умерли дочери-

близнецы, не заботящийся о достатке, но способный три часа разглядывать ветку папоротника, остался для Анфисы загадкой, таинством, близким и одновременно далеким созданием, которое она не умела понять и тайно признавала это свое неумение, и дорожила им больше, чем собственным счастьем. Анфиса всегда поддерживала у окружающих мнение о том, что супруг любит и жалеет ее. Обновками и гостинцами, которые он привозил по ее списку, хвасталась перед соседками. И врала, что муж регулярно бьет ее.

Ерема никогда не поднимал руку на жену, хотя ее упреки и наставления досаждали ему подчас отчаянно. Сыновей он наказывал, когда уж набедокурили так, что ни в какие ворота, дочери-шалунье мог погрозить пальцем.

По деревенским представлениям, если муж не бьет жену – стало быть, не любит ее, без внимания оставляет. При этом мужики-изверги, часто колотившие, увечившие супружниц, вызывали осуждение, которое было связано не только с жалостью к бабе – злобный муж всем недюж, то есть вспыльчивому человеку, распускающему кулаки по любому поводу, нет доверия ни в чем. Староста наказывал буяна денежным штрафом или работами. С другой стороны, те, кто вовсе «не воспитывал» жену, особенно в первые годы брака, уважением тоже не пользовались. Воспитание сводилось к наказанию за малейший проступок. Хлеб в печи подгорел, на пашню баба припозднилась, ребенок кричит как прищемленный – за все молодуха получит. А если ее не наказывать, возьмет волю, станет голос подавать – блажить шумно, до крика, или нудняво, докучливо. Испортится натура у бабы, потом не исправишь себе же на горе.

Именно так и случилось с Анфисой. Но как она ни доводила мужа, как ни провоцировала отходить ее вожжами, оттаскать за косы, Ерема не поддавался.

– Заткнись, – просил он. – Ты ж не скотина, что только палки боится, а человек водушевленный.

– Сам ты водушевленный! – кипятилась Анфиса. – Ловко устроился, от хозяйства отвернулся, дома гостишь, на стороне прохлаждаешься. Я тебе третий день толкую – венцы у колодца сгнили, не сегодня-завтра обвалится колодец. А ты что? Вот что ты, Еремей Николаевич, до обеда делал? Веточки рассматривал! Чего их рассматривать? В лесу их видимо-невидимо!

– Рассматривал, как листочки к ветке крепятся.

– Дурак блаженный! – заходилась от возмущения Анфиса. – Это кому сказать! Это засмеют!

– Хоть и говори, – отмахивался Еремей, – мне без волнения.

В отличие от жены Еремей был равнодушен к мнению окружающих. Его собственный внутренний мир был столь велик, противоречив, мучителен, что в мире внешнем его трогало лишь то, что каким-то образом задевало реалии мира внутреннего. Анфиса ставила себе в заслугу, что мытьем и катаньем заставила-таки мужа отремонтировать, перестроить дом и хозяйственные постройки.

– По твоему владению, – говорила она, – люди судят, что ты за мастер. Хорош плотник, у которого баня сгнила и хата покосилась.

Но не настырность жены, а возникшее желание выстроить идеальную усадьбу подвигло Еремея взяться за дело. Да и надо было чем-то заниматься во время домашнего пребывания – не вникать же в мелкие, однообразные, тупые, повторяющиеся хозяйственные проблемы. С ними Анфиса прекрасно справлялась. Начни Ерема помогать, жена мгновенно превратит его в неразумного подмастерья, будет учить, попрекать в доброте, в непрактичности – словом, сядет на шею и поскачет с гиканьем. А пока же ей на мужнину шею никак не забраться – соскальзывает.

Дом

От деда Ереме достался дом-крестовик на подклете из выдержанных бревен лиственницы тридцати с лишним сантиметров в диаметре. Сруб, разделенный двумя пересекающимися капитальными стенами (поэтому «крестовик»), с подклетом, в котором находились погреб и хранилище овощей, стал основой нового дома, неузнаваемо перестроенного. Ерема присоединил по две комнаты с каждой стороны, и с фасада теперь на улицу смотрели четырнадцать больших окон, простенки между которыми были уже самих окон. Про сибиряков говорили, что у них повышенная любовь к солнцу и свету. Это точно про Ерему. Окна были с двойными стеклянными рамами, со створками для летнего проветривания и с желобками для стока талой воды. Дом без ставен – что человек без глаз. И «глаза» Ереминого дома в обрамлении массивных наличников с вырезью были чудно хороши. Они перекликались с резным карнизом по фронту, с галерейкой с точеными балясинами над окнами, балкончиком и перильцами. Со стороны двора Ерема добавил большие сени во всю стену и крыльцо на бревенчатом подрубке с пятью ступенями, перилами и балясинами. В подклете теперь были комнаты для работников.

Двор делился на чистый, передний, и грязный – задний, скотский. Оба двора Ерема застелил по земле тесаными бревнами и плахами во всю площадь, хотя обычно хозяева ограничивались проходами-дорожками от ворот до крыльца и до амбара. На подворье у Анфисы всегда был порядок, ее справедливо называли «обиходка» – чистоplotная женщина.

На переднем дворе по периметру располагались постройки. Амбары (по-сибирски – «анбары») стояли на вертикальных столбцах, для поддува и защиты от мышей. В одном анбаре хранилось зерно в специально оборудованных сусеках. Анфиса годами не видела дна своих сусеков, потому что урожаи были отменными и всегда делался расчет на неблагоприятный год. В других анбарах стояли лари для муки и круп, мешки с льносеменем, деревянные кадки, выделанная кожа, холсты, сундуки с одеждой для себя и для работников и многое, многое другое, необходимое для автономной, закрытой жизни, какую по большей части и вели сибиряки.

Свою мастерскую Ерема сделал просторной и светлой. К ней примыкали навесы для хранения теснин, бревен и другого материала. Далее следовали невеликие сапожная, пимокатная (где делали, «катали»,

зимнюю обувь – пимы) и бондарная мастерские. Эти ремесла Ерема не любил, ими занимались нанятые работники. Рядом с домом находилась летняя куть (кухня), в которой грели воду в больших объемах на поило животным, варили скотское хлебово. Погреба под домом не хватало: Анфиса всегда хранила припасов как на полк или на пять неурожайных годов. Поэтому был построен, точнее – выкопан, дополнительный погреб со входом из летней кути. Дом стоял на хорошем месте, и отводить грунтовые воды большой заботы не составляло. К завозне – помещению с большими воротами, где хранились сани, телеги, лошадиная упряжь, – подводил широкий настил для въезда. Никому не приходило в голову украшать ворота завозни или скотского пригона, а Ерема даже их с обводкой пропильной резьбы сделал.

Баню испокон веку строили у реки и топили по-черному, считая ее «более паркой». Банную утварь никогда не использовали в доме, потому что известно – нечисть, вроде леших и ведьмаков, любит в бане тешиться, пока хозяев нет. Ерема баню устроил между передним и задним дворами, как пряничный домик оформил. Вода грелась не в бочке, в которую бросали горячие камни, а в железном коробе внутри печи. На чердаке бани стояли два чана с водой, хитро по трубам циркулировавшей в печку и обратно. Анфиса поначалу яростно ругалась на поправление устоев: баня во дворе – это стыд и привлечение к дому темных сил. Но Ерема знай себе строил и строил, отмахиваясь от ее угроз схватить топор и к такой-то матушке порушить грешное творение. Но потом Анфиса оценила удобство. Баню топили если не каждый день, то через день. Анфиса сама любила париться, считала, что баня возвращает силы, не терпела козлиного духа от работников и вонючих за стол не пускала. По установке хозяйки один из работников никогда не отлучался со двора, следил за печами, любым открытым огнем, содержал в порядке противопожарный инвентарь – ларь с песком, бочки с водой. Страшнее пожара, способного превратить семью в нищих лишенцев, ничего не было.

На заднем дворе находились конюшня, стаи для скота, овин, рига для сушки снопов, молотильня и другие рабочие помещения. Зимой оба двора были защищены от непогоды: их покрывали жердинами, опирающимися на вертикальные столбы с развилками. Сверху бросали сено, которое постепенно уходило на корм скоту. Столбы-опоры Ерема тоже украсил – сделал в виде толстых витых веревок. Он не терпел художественно не оформленных долговечных предметов, на которые постоянно натывается взгляд. Даже если их не видят посторонние люди, предметы должны радовать глаз.

Внутри дома, поддавшись моде, Еремей оштукатурил и покрасил спальняные комнаты, но не одноцветно, а с рисунком под разные трафареты. В одной из комнат даже решил собственную живопись на стенах вывести. Не получилось. То есть, по его разумению не получилось. Анфиса, когда увидела жар-птиц и длинномордых зубастых змей (крокодилов с крокодилицами, по Ереминой задумке) в буйно зеленом лесу сказочных деревьев, задохнулась от тщеславия – такого ни у кого нет! Однако Еремея его работа разочаровала – все соскоблил, заново оштукатурил, покрасил розовым, по потолку пустил голубой орнамент.

В горнице хозяин от модностей отказался, покрыл стены досками «красного леса» – смолистой сосны, долго выдержанной в специальных условиях. Она перестала «плакать» смолой, была отполирована до зеркальной гладкости и, когда в окна било солнце, хрустально светилась, играла. «Где такой кедр раздобыл?» – удивлялись гости.

Зажиточные крестьяне мебель старались покупать городскую – гнутые стулья, кровати с металлическими шишечками, шкафы для посуды, кованые сундуки. Особая гордость – музыкальный замо́к на сундуке. Еремей всю мебель сделал сам: кровати с высокими резными изголовьем и изножьем, буфет на три отделения, украшенный орнаментом в виде папоротниковых листьев, опоясывающих диковинный фрукт виноград (все принимали его за россыпь клюквы), лавки со спинками в виде борющихся змей и орлов, сундуки.

Анфиса своими сундуками гордилась. Массивные и объемные, благодаря ажурной резьбе они выглядели легкими, как шкатулки. Их никогда не закрывали накидками. Еремей же, в очередной раз приехав домой и глядя на свое произведение, сказал, что сундуки похожи на кладбищенские тумбы. Он бы их выкинул или отдал кому-нибудь, но Анфиса насмерть встала, не позволила вынести из дома такую красоту. Еремей ограничился тем, что приладил на сундуки музыкальные замки. Всю зиму ковырялся, чтобы научить замки разным мелодиям.

Постройка усадьбы имела начало, но конца у нее не было. Еремей не торопился и работал в охотку, а без охотки мог неделями не брать в руки инструмента. Анфиса жила в обстановке вечного ремонта. Для Еремея стройка была творчеством, он чувствовал себя создателем вроде Отца Природы, который постепенно выращивает цветок, листочек за листочком, лепесток за лепестком. Если что-то получается плохо, Отец забраковывает создание, цветок засыхает, гибнет, не дав семян, а на следующий год появляется росток нового. Анфисе подобные выкрутасы были недоступны и противны. Взятся строить – построй, а не переделывай то, что надежно и

прочно. «Некрасиво? Кто сказал? Тебе так кажется? Перекрестись и работай дальше. Да не над воротами анбара! Кому их видно? Не ломай, ирод! Тьфу! До смерти моей не закончишь...»

С другой стороны, Анфиса гордилась тем, что на ее дом бегали смотреть как на диковинку, что проходившие замедляли шаг, любуясь, что исправник и другое городское начальство предпочитало ночевать в ее доме, а не у старосты, что ссыльный художник устраивался за воротами на скамеечке и зарисовывал ее дом, баню. Поначалу Анфиса гнала художника, суеверно боясь, что бородатый парень в бабьей поддевке сглазит хозяйство. Но художник пообещал написать ее портрет и обещание выполнил. Рисовал он масляными красками на холстине, натянутой на раму. Сходство уловить художнику не шибко удалось, возможно, потому, что позировать Анфисе было непривычно, высидеть на одном месте несколько часов у нее терпения не хватало. Но портретом она осталась довольна – фигура получилась строгая и солидная. Еремей очень сокрушался, что не удалось пообщаться с художником – того погнали дальше по этапу, когда Еремей был еще в летнем отходе. Для портрета Еремей сделал резную раму, повесили его напротив зеркала, которое тоже было оформлено в багет. Анфиса чуть не лопалась от гордости – теперь у них как в благородных боярских домах. Еремей посмеивался, тыкая пальцем в портрет, в его отражение в зеркале и в жену:

– Везде ты. Кругорядь Турка.

Сыновья помогали отцу в строительстве, но по приказу. Особого рвения к столярству и резьбе не выказывали, талантов отцовских не унаследовали. Из всех детей только у маленькой Нюрани проглядывался художественный интерес. Она могла часами сидеть, наблюдая за инструментом в руках отца, радостно хлопала в ладошки, когда из дощечки рождалось деревянное кружево. Но тут Анфису подстерегала другая напасть.

Анфиса за косы драла дочь:

– Не смей отца ни о чем просить! Не отвлекай!

Но науку девочка долго не помнила, ластилась к Ереме:

– Тятя, сделай куколку! И кроватку для нее, и шафоньерчик, и столик с лавочками!

Еремей бросал работу и занимался глупостями – вырезал игрушки. Когда Нюране было пять лет, на месяц отложил дела, хотя баня была не покрыта тесом, а дожди уже начались. Ерема построил для дочери маленькую, размером в три собачьих будки, избушку с детской мебелью. Избенка, конечно, вышла загляденье. Но какой от нее толк? Одно

баловство, потакание дочкиным капризам.

Однажды Ерема привез детям гостинец – настоящие пахучие яблоко и грушу. Фрукты эти сибиряки видели только на картинках в книгах, да еще бабушка Анфисина рассказывала про сады на Тамбовщине. Анфиса съесть яблоко и грушу детям не позволила, хотя дочка рыдала, а муж злился. Фруктами Анфиса перед соседями хвасталась, пока яблоко не ссохлось, точно кизяк, а груша не сгнила.

Так они и жили, во многом не совпадая: Ерема считал, что все надо попробовать, на себе испытать, самому знание, удовольствие или разочарование получить, а для Анфисы главным было сохранить лицо перед окружающими, пустить им пыль в глаза, удержать первенство в негласном соперничестве деревенских баб. Ерема трудился под настроение, а у Анфисы поблажек не было – рожала, нянчила детей, вела большое хозяйство, хоронила Ереминых деда и мать, поднимала его братьев и сестру, женила и выдавала их замуж. Она не знала отдыха, покоя в мыслях.

Анфиса не была склонна к сожалениям о прошлом и в будущее смотрела без страха. Все эти бабы «кабы по-другому сложилось...» или «а ежели не ровен час...» терпеть не могла. Прошлого не изменишь, а про будущее только Богу известно. Она походила на человека с абсолютным слухом, который не поет и не музицирует, но невольно кривится, когда кто-то фальшивит. Потому что у нее случались предчувствия. Редкие, они ни разу не обманули. Связаны были со смертью – родителей, брата и сестры. Это не было то знание, которое возникало, когда она касалась болеющего человека. Родители накануне смерти никаких тревог не внушали; с братом, который утонул в реке, и с сестрой, заболевшей грудной сухоткой, Анфиса несколько лет не разговаривала, считала, что ее обошли при разделе наследства. Предчувствие возникало неукротимо, как тошнота, и никогда не было конкретным – с каким именно человеком случится беда.

Осенью 1914 года Анфиса как-то проснулась с ощущением страшной потери. Думала, сон плохой приснился, тут же забылся, только эхо от него осталось, сейчас растает. Но ощущение не проходило, крепло. Это было оно, проклятое предчувствие. А вскоре долетела весть, что война с германцем началась и объявлена мобилизация.

Анфиса очень боялась потерять большака Степана. Она бы руки дала себе отрубить, глаза выколоть, только бы сохранить жизнь любимцу и продолжателю рода Степушке. Анфиса уговорила чалдона-промысловика,

который еще Ереминого отца помнил, взять Степана в артель, увести в тайгу, чтобы носа в деревню не казал, пока она сигнал не даст.

Двадцатилетний Степан, конечно, хорониться не желал и рвался на войну. И Анфиса, неслезливая, гордая, суровая мать, упала в рыданиях перед сыном на колени. Голосила, била головой об пол, ногтями царапала лицо. На ее крики прибежали работники, сын Петр и дочка Нюраня – Анфиса никого не стыдилась. По ее лицу текли слезы и смешивались с кровью, а она все молила и молила сына. Степан перепугался, стал мать поднимать, она вырывалась, снова падала и заклинала...

Вырвала-таки у сына обещание на год в тайгу уйти. Где год, там и три.

Работники у Анфисы всегда были не из болтливых. Соседкам про царапины на лице говорила – кыса (кошка) подрала. И все прислушивалась к себе – уйдет ли страшное предчувствие. Ушло.

Тревожась о сыне, Анфиса про мужа забыла. Думала: старый, под пятьдесят лет, не призовут. Однако Ерему забрали в солдаты. На фронт он не попал – по дороге заболел тифом, ссадили его в Самаре и в госпитальный тифозный барак для умирающих бросили. Но Ерема выжил, стал поправляться и потихоньку чинить-ремонттировать госпитальное хозяйство. Начальник госпиталя его заметил и оставил служить санитаром. В семнадцатом году скинули царя, и началось брожение. Ерему политические страсти не занимали. Выхлопотал отпуск домой, уехал и не вернулся.

Настали лихие времена. Думали: война, на которую забрали самых сильных мужиков, – временное испытание, а это было только начало, и смуте не виделось конца. Подростки деревенские парни вместо плуга и косы взяли в руки винтовки и ушли воевать, кто за белых, кто за красных, за большевиков, за колчаковцев. Степана после трех лет таежного промысла никакими силами удержать дома было нельзя. Он боялся еще одной материнской истерики и настроил себя решительно – не поддаваться ей. Однако мать только скривилась презрительно:

– В умники попал, а из дураков не вышел.

Еремей называл Степана непонятым Анфисе словом «пролетарий», во время их споров она переводила взгляд с сына на мужа, силясь понять, о чем ведут речь и на чьей стороне правда.

– Значит, пролетарии всех стран, соединяйтесь? – насмешливо спрашивал Еремей. – А крестьяне чего ж не соединяйтесь? Или купцы? Или мастеровые люди?

– Пролетарии – главный класс, движущая сила революции, – отвечал

Степан.

– Видел я этих пролетариев. Спаси бог от такой движущей силы. И на что тебе революция нужна?

– Для всеобщего равенства, справедливости и счастья.

– Вот конкретно в нашем селе, – не отступал отец, – с кем равенства желаешь? С Данилкой Сорокой, с Петькой Игнатовым и с Афоней Плюгавым?

Это были распоследние пьяницы и лодыри.

– Я мыслю не про конкретное наше село, а во всемирном масштабе, за счастье всего человечества.

– Что тебе известно про человечество, шишкойой, лесной бродяга? Дальше Омска мира не видел, а в благодетели записался. Хочешь через оружие и кровь людей счастливыми сделать? А у них спросил, что им счастье? Нельзя насильно, под дулом или на аркане тянуть людей в Карлой Марксой придуманную благодать.

– Можно! – упорствовал Степан. – Лекарь, например, больно человеку делает, но для его же последующего здоровья.

– Лекари тоже разные бывают, я их три года наблюдал. Знаешь, как говорят? У каждого доктора, мол, есть свое кладбище пациентов. Гробы только успевай строгать. Так что ты разберись, сынок, не на погост ли людей тянешь. Да и сам на нем не окажись.

– Уже разобрался!

– Ну-ну. Хороши были волосы, да отрубили голову...

В молодости Еремей несколько лет работал под началом артельного мастера, который знал сотни поговорок, на каждый случай жизни, и откликался ими на любой чих. Память у Еремея была отличной, и пословицы-поговорки он легко запомнил, а со временем и сам стал вставлять их в речь. Не потому, что хотел прослыть краснобаем, а потому, что пословицы – это веский, непререкаемый аргумент. Недаром ведь молвится: пословица не судима. И еще народная мудрость всегда оказывалась к месту, чтобы поставить точку в спорах, вести которые Еремей не любил.

Его мастерство было хорошо известно в губернии, подрядчики соревновались, чтобы заполучить Медведева в артель. Спокойный, уравновешенный, малопьющий Еремей Николаевич никогда не торговался за копейку, легко осваивался в любом коллективе, не устраивал ссор, не входил в группировки, от любой смуты держался в стороне, а его работа вызывала восхищение. Если при нем обижали ребенка или женщину, он мог скрутить пьяного дебошира или выкинуть на улицу. Но если он

проходил мимо дома, где тот же дебошир лупил детей или жену, то Еремей именно проходил мимо – не заглядывал, не вмешивался. Он отказывался работать с негодным, сырым материалом, и никакая денежная выгода не могла его подвигнуть на брак. Но когда другие ставили рамы из непросушенной древесины, которую через год винтом поведет, он смотрел на это спокойно.

В самарском госпитале вместе с двумя выздоравливающими солдатами Еремей починил водопровод, наладил канализацию, залатал крышу, переложил печи на кухне и еще десяток мелких работ выполнил. Он построил красивую беседку возле барака, в котором жили врачи и сестры милосердия. Теперь они могли в редкие минуты отдыха пить чай на свежем воздухе. Когда не хватало персонала, Еремей не чурался грязной санитарской работы – выносил из операционной тазы с ошметками кровавой плоти, мыл лежащих больных и перестилал им постели, отвозил покойников в морг. Его любили врачи и сестры, не хотели отпускать, главный врач умолял вернуться после отпуска.

– Как сложится, – ответил ему Еремей. Вышел за ворота и забыл о госпитале, где все почему-то считали, что он вкладывает в работу душу. А это была просто добросовестность.

Душа же его была намного больше, сложнее и шире, чем можно было подумать, глядя, как он налаживает производство гробов. Бесконфликтность и покладистость Еремея объяснялась его равнодушием. Ему были безразличны человеческие страсти: борьба честолюбий, желание главенствовать, прославиться, разбогатеть. И носители этих страстей – обычные люди – тоже были ему неинтересны.

Он мог очаровать и очаровывал людей, не прилагая к тому никаких усилий, не ставя целью, не желая. Ему приписывали замечательные достоинства, и Еремей никогда не давал повода разочароваться. Но только Анфиса, жена, знала, что в основе его характера лежит равнодушие – ко всему и ко всем, даже к собственной работе. То, что сделал вчера, сегодня уже ему не нравится, неинтересно, постыло. Анфисе достался муж, у которого хозяйская сметка и забота отсутствовали начисто. За тридцать лет супружеской жизни Анфиса так и не смогла с этим смириться. Цедила презрительно:

– Мясо хорошо в пирогах, реки в берегах, а хозяин – в доме.

Она тоже взяла привычку вставлять пословицы и поговорки, но с целью, отличной от мужниной. Хотела бить Ерему его же оружием.

Анфиса у сына спрашивала, кто такая Карла Маркса. Оказалось –

мужик, придумавший учение про пролетариат, который есть простые грязные фабричные рабочие. По разумению Анфисы, Карл Маркс секту организовал, вроде молокан или трясун, только без плясок. Степушку в секту втянул Вадим Моисеевич, ссыльный. Учительница их школьная померла, жид Моисеевич одну зиму ее заменял. По весне новую учительницу прислали, но ребятня, подростки и те, кто постарше, продолжали к Моисеевичу бегать. Книжки он им читал, разговоры вел. Кто ж знал, что плохому научит? Задурил парням головы проклятый жид!

Однако когда Колчака разгромили и Степан властью стал, Анфиса стала думать, что не муж был прав, а сын, и секта правильная. Обещают порядок навести и справедливость. Несправедливостью, чистым грабежом были злодеяния колчаковцев, которые хлеб да скот отбирали, парней силой уводили. Кроме того, название у секты было хорошим – «большевики». Как большаки, то есть старшие, наследники, опора родительская.

Не прошло и года, как «политические взгляды» Анфисы резко переменились.

Укладываясь спать, поостыв, Анфиса думала о том, что надо смириться с выбором сына – Прасковья так Прасковья. Все равно Степку не сломаешь. Только пусть прощения за грубость, непочтение к родителям попросит и, как положено, благословения.

Она нисколько не сокрушалась о том, что обругала сына, и не видела противоречия: Степан к ней с вестью давно желанной, а она в ответ заростилась. Любое своеволие в семье, попытки жить своим умом, принимать решения без ее ведома вызывали у Анфисы бешеный протест. И хотя на Степана, как и на мужа, ее гнев не действовал, они все-таки без лишней нужды старались не попадать матери под руку. Для остальных же это была наука: поблажек ни для кого Анфиса Ивановна не делает.

Степан

Выйдя из дома, Степан запахнул тулуп, поднял воротник. На улице бушевал злой ноябрьский ветер, стрелял ледяной картечью. Под ногами бугрилась невидимая замерзшая грязь – чтобы не оступиться, идти приходилось осторожно и вихляво. Звезд и луны на небе не было, только свет в окнах – мерцающие огоньки – указывал путь.

В доме вдовы Лопаткиной нынче супрядки. Лопаткина зарабатывает тем, что шьет и продает одежду из домотканого полотна. В старые времена порты и рубахи посконные (из конопляного волокна) были рабочей одеждой, а повседневные и особенно праздничные наряды приобретались в городе, в том числе и нижние рубахи из тонкой бязи или даже батиста. Теперь мало кто мог себе позволить фабричный шик, и домодельная одежда стала основой гардероба. Большинство женщин сами ее изготавливали. Времени на украшения – пустить по подолу и по вороту тесьму, вышивку – не оставалось, ведь одежды требовалось много. Да и где взять тесьму и нитки нелиняющие? Старые запасы кончились, а новые приобретать – дорого, на соль не хватает. Кроме нательной одежды ведь надо еще напясть шерсть, навязать чулки (их носили и мужики, и бабы, и дети), исподки и верхницы (рукавицы). Сибирь не прощает легкомысленного отношения к одежде. Однако женщины остаются женщинами: чуть отпустило лихолетье, стремятся украсить себя. Сибирячки поверх рубах надевали поневы – своеобразные юбки из двух-трех не сшитых, а укрепленных на поясе полотен, и телогреи – длинные распахнутые кафтаны с широкими косыми клиньями по подолу, стеганные ветошью или шерстью.

Лопаткина как раз и шила поневы да телогрейки – теперь, а в былые времена предпочитала ладить душегрейки – праздничное дамское полупальто из беличьего меха, крытое штофом или ею лично по сукну расшитое стеклярусом и шелковыми нитками. По наблюдениям Степана, Лопаткина зарабатывала мизер, едва сводила концы с концами, но упорно колдовала над чанами, варила краски, изготавливая крашенку – цветное полотно для своих изделий, и ни одна вещь, проданная ею за копейки, не походила на другую. Лопаткину прозвали Модисткой, вложив в это слово и уважение, и насмешку. Уважение – за преданность своему таланту, насмешку – за неумение на нем разбогатеть. Столько полотна наткать,

пряжи льняной и шерстяной напрясть, сколько нужно для понев и телогреек задуманных, Лопаткина-Модистка сама не могла. Она привлекала сельских девок и молодых, четко зная их умения и раздавая уроки-задания. Расплатой были супрядки, дословно – «совместные прядения», а по факту – вечеринки, гульбища.

Степану как главе власти ходить на подобные сборища было зазорно. Но Степан никогда не боялся уронить авторитет, потому что уважение – это не задранный нос и не котелок с варевом, который надо донести и не расплескать. Авторитет – это твои дела. Где ему с молодежью, которая есть движущая сила будущего справедливого общества, встречаться, как не на супрядках? И еще имелся личный мотив. Мать Прасковью держала в доме, не позволяя носа на двор высунуть, но к Лопаткиной на супрядки отпускала.

Степан ломал голову над тем, как уговорить Прасковью – Парасю, Парасеньку – жениться без церковного венчания. Когда впервые заговорил о том, что ему, партийцу, в храме попу кланяться никак невозможно, Парася испуганно вытаращила глаза, закусила кулачки и смотрела на него с таким страхом, будто он смертный грех предложил. Хотя, с точки зрения Параси и большей части их дремучего населения, жить невенчанными и есть большой грех. У Параси не было страха в глазах, когда давала отлупы Данилке Сороке и Сашке Певцу, а тут до слез расстроилась и испугалась.

Благодаря Данилке и Сашке, известным варнакам, Степан и обратил внимание на Прасковью Солдаткину.

За правдой, то есть помощью, к Степану пришла Наталья Егоровна Солдаткина, мать Прасковьи:

– Ты теперь власть, Обчество старинное разогнали...

Как и во всех сибирских селах, в Погорелово до революции имелось крестьянское Обчество (по-расейски – Общество, Община, Мир). Сибиряки делили людей на «своих», то есть членов Обчества, и «расейских», то есть переселенцев, на «своих» и чиновников. Попасть в Обчество было непросто, но уж если тебя приняли, то пользуешься законом (и бесплатно!) общими угодьями, «рыбными местами», ягодниками, ближними лесами и находишься под надежной защитой от произвола властей. А случись с тобой несчастье в виде смерти, Обчество не оставит сиротинушек без пригляда и помощи. На общем сходе, который называли «общественное согласие», выбирали старосту, окладчика, счетчика, рассыльных, челобитчиков, заслушивали отчеты предыдущего «сельского правительства». Справедливо ли оно распределяло натуральные

повинности: ямщицкую, выделение лошадей и подвод, исправление дорог, отопление правления, школы и церкви, оплачивало учителей и караульную службу; собирало подати, налоги и отчисления на нужды Общества? Староста и понятые выполняли судебные функции – разбирательства о мелких хищениях, потравах посевов, разделе имущества, несоблюдении противопожарных мер, незаконной порубке леса, жалобы о предосудительных поступках: предерзости в миру, непристойности, пьянстве, буянстве, распутстве, похабстве, и даже «кляузничанье на суседа» могло стать основанием для общественного приговора. Чаще всего он представлял собой штраф – «мирской начет», но случались и посадки в кутузки, на хлеб и воду. Крайней мерой было исключение из Общества и изгнание из села.

– Вместо Общества, – напомнил Степан Солдаткиной, – теперь Советы.

И едва удержал тяжелый вздох. Вся полнота исполнительной власти теперь лежит на его плечах. При этом губернская законодательная власть сама не знает, чего хочет.

– Мне советы не нужны, – отрезала Наталья Егоровна. – Советами девке не поможешь.

Наталья Егоровна рассказала о том, что Данилка Сорока и Сашка Певец не дают прохода ее дочери Прасковье. Домогается Сорока, а Сашка в его приспешниках. Женщина перечислила длинный список учиненных «безобразий», которые по характеру делились на два противоположных действия – задабривания и угрозы. Сорока как-то швырнул под ноги Парасе полфунта конфет и орехов – она переступила и пошла дальше, ребятня бросилась поднимать. Подарками, вроде шали набивной и сережек с рубинчиками, пытался подластиться. Парася его подарки не приняла.

– Откуда у выжиги шали да сережки? – спрашивала Наталья Егоровна и сама же отвечала: – Не иначе, ворованные. Сам знаешь: поселенец что младенец, на что глянет, то и стянет.

Одновременно Сорока подлавливал Парасю, зажимал, пытался лапать, а его постоянный адъютант Сашка Певец на стреме стоял и смеялся. Парася отбивалась чем под руку попадется. Один раз с ведрами шла, окатила Сороку водой. Но того не отлить, настырный. Жениться-то он звал, понятно. Да разве пойдет справная девушка за такого пропойцу и охальника? В последнее время дошло до прямых угроз. Данилка Сорока заявил, что если не будет добровольного согласия, то пойдет за него Прасковья порченная, никуда не денется. Она теперь из дому не показывается, только вместе с матерью выходит.

– Завчера, – подвела итог своему печальному рассказу Наталья Егоровна, – измазали нам ворота дегтем. Стыд-то какой! Срамят девку. Знаешь ведь, как люди подумают: честная-то честная, а дыму без огонька не бывает...

– Разберусь, – пообещал Степан.

Связываться с Данилкой и Сашкой ему не хотелось, но давно уже требовалось.

Сорока и Певец были из столыпинских переселенцев, приехавших в село в шестом году. Между переселенцами и старожилами всегда существовали разногласия. И до реформы Столыпина ехали за Урал «расейские», как их называли коренные сибиряки, а после реформы потоком хлынули. Старожилы из Общества считали несправедливыми претензии переселенцев на пахотные земли и пастбища. Земли навалом – расчищайте, окультуривайте и пользуйтесь. В точности как предки старожилов поступали. А переселенцы претендовали на все готовенькое да еще помощь от государства получали, и от податей, денежных и натуральных, их освобождали. Ловко устроились!

Несмотря на льготы, в суровых сибирских условиях редкая семья могла быстро стать на ноги. Приходилось наниматься в работники к старожилам. Это был честный путь в Общество. Потому что хорошему работнику всегда платили много: до семидесяти рублей в год, плюс одежда и молодняк скота, плюс «присевки» с полутора десятин земли, засеянных хозяйскими семенами. Платили исправно; случись неурожай, хозяин расплачивался «по уговору», то есть работник получал всегда сполна. Он сидел за общим семейным столом, мог обращаться к хозяину на «ты», его жена и дети находились под покровительством хозяйки. За три-четыре года хороший работник накапливал сумму, достаточную для ведения собственного хозяйства, и писал прошение о вступлении в Общество. Если принимали, он пользовался общими сельскохозяйственными угодьями, платил подати – их размер всегда служил показателем богатства и гражданской состоятельности.

Среди переселенцев таких, кто хотел и мог своим трудом выбиться в достойные хозяева, было большинство. Но, как всегда это бывает, гнилое меньшинство портило жизнь: лодыри, бражники, паскудники своим поведением совращали молодежь, подрывали вековую мораль и устои. Если раньше «поганую овцу» центробежной силой общего неприятия выбрасывало прочь – парень уходил на прииски, в старатели, на тракт подменным ямщиком, – то теперь он никуда не уходил, куролесил и

куражился по месту жительства. Пока Обчество было в силе, пока не наступили смутные времена войн и революций, на поганцев находили управу. Тот же Данилка, которого сход Обчества постановил изгнать из села, ходил по домам, кланялся в ноги мужикам, обещал «исправиться поведением». Ему поверили, и напрасно. Власть Обчества упразднили (стараниями того же Степана), и пропал инструмент воздействия на варнаков. Тридцатипятилетний Данилка – бандитская разбойная натура мелкого деревенского пошиба – привлек для проказ Сашку Певца, безвольного, безалаберного, но музыкально одаренного парня, которому все бы гармонь растягивать, на балалайке брэнчать да песни голосить.

Для Степана сложность заключалась в том, что и Данилка, и Сашка были классово родственными элементами. Сражались на стороне красных, хотя как сражались – еще вопрос. Данилка называл себя «крестьянским пролетарием», но в партии большевиков не состоял, всегда поддерживал Степана, горлопаня на сходах (по-теперешнему – общих собраниях) и даже угрожая карами почетным старикам. Авторитетов Данилка не признавал, а Степан не мог до конца избавиться от привитого с пеленок уважения к старшим и мудрым.

Степан решил первым делом выслушать «потерпевшую». Слово это ему очень нравилось, впервые услышал на воинском суде во время службы в Красной армии. Потерпевший в его представлении – это человек, над которым надругались, а он достоинства не потерял и просит о справедливом возмездии.

Потерпевшая Прасковья, когда он пришел в дом Солдаткиных, смотрела в пол и наливалась красным цветом.

– Значит-ца, – заговорил Степан, – ты жалуешься на Данилку и Сашку?

– Нет, – прошептала она.

– Чего «нет»?

– Не я жалуюсь, а мама.

– Это сути не меняет. Какие такие их действия тебя конкретно оскорбили?

Степан понимал, что несет чушь и говорит, как их приходской дьячок, который в подпитии витийствовал. Степан удивлялся сам себе, но перестроиться не мог.

На вопрос Парася не ответила, только покраснела еще пуще.

Анфиса Ивановна, мать Степана, была не права, обзывая Прасковью

шклявой и нюхлой доходягой. Естественный отбор: суровый, но очень здоровый климат, раннее закаливание, отличное питание вкупе с дозированными трудовыми нагрузками детей («надорвать» ребенка или подростка считалось большим грехом) вывели породу, которая по праву прославилась. «Сибиряк» и «сибирское здоровье» стали синонимами крепости тела и духа. Анфиса Ивановна, ее муж, сыновья, невестка Марфа – все под два метра и могутные. Рядом с ними Прасковья, метр с полтиной, выглядела недоростком. Однако она была хорошо и пропорционально сложена, и ее бедра круглились приметно (залог хороших родов). В Расее Прасковья за первый сорт сошла бы. Но Сибирь не Расея. Лицом Прасковья неприметна, глазу не зацепиться ни за красоту, ни за уродство – не ряба и не носата. Не то что любой из Турков – у них волосы вроде конской гривы, а нос «на троих рос, одному достался». Миловидность Прасковьи заметить было сложно еще и оттого, что, стеснительная, она редко поднимала глаза, а если и смотрела на собеседника прямо, то в ее взгляде была испуганная просительность. По крестьянским представлениям, девка должна быть скромной, но не робкой. Скромность считалась следствием хорошего воспитания, а робость – неисправимым природным недостатком. Девка должна помалкивать (скромно), но, коль спросят, отвечать (не робея) внятно, не заикаясь. Робость воспринималась и как слабость характера, и как физическое малосилье, что сводило на нет прочие достоинства девушки. Именно таких установок придерживалась мать Степана, но не он сам. Его как раз пленяли робкие, пугливые женщины. И не потому, что рядом с ними он чувствовал себя особенно могутным. Его охватывало умиление сродни тому, что бывает, когда смотришь на молоденькое дерево, ребенка, котенка или щенка, козочку или жеребенка. Но девушка, конечно, не березка годовалая и не телочка новорожденная, так ведь и чувство его с другим оттенком – с плотским желанием.

– Повторяю свой конкретно-предметный вопрос, – сказал Степан и неожиданно закашлялся. – В чем выражаются ваши требования как потерпевшей?

Казалось, что Прасковья грохнется сейчас на пол в беспамятстве. Степан даже представил, как отхаживает ее, положив на свои колени. Но девушка резко повернулась и убежала в глубь дома. Степан остался стоять дурень дурнем. Помялся-помялся да и пошел вон.

За оградой поджидали Данилка и Сашка. Не замедлили нарисоваться.

– Ты чаво ето, председатель, – нарочито коверкая слова, начал Данилка, – к моей зазнобе подкатываешь?

– Была твоей, стала моей, – неожиданно для себя самого свирепо

ответил Степан.

– Как это?

– А вот так!

Степан с размаху, со всей силы заехал Данилке в рыло. Тот улетел на противоположную сторону улицы. Непонятная злость еще не вышла из Степана, он повернулся к Сашке. Тот попятился, с перепугу напоролся на колдобину, упал на зад, ойкнул, подскочил и бросился бежать. Гармонь, которую Сашка теперь держал за один ремень, растянулась мехами, подлетала и хлопала его по ногам.

Степан засмеялся.

– Я тебе не оставлю, – сказал Данилка.

Степан развернулся к нему, продолжая улыбаться:

– Чего?

– Того!

Данилка сидел на земле и утирал кровь с разбитой губы.

– Вот и поговорили, – усмехнулся Степан. – Еще раз Прасковью обидишь, заопять получишь.

И пошел прочь.

Данилка его угрозы не испугался, и неизвестно, как сложилась бы судьба Прасковьи, если бы Данилка Сорока не заболел. На рыбалке провалился в реку, намок. Застудился сильно, лихорадка была припадочно, от жара бредил, метался. Потом кашлять начал надрывно, будто чахоточный. Думали, не выкарабкается, а он сдюжил, хотя два месяца провалялся в болезни. За это время у Степана с Прасковьей и сладилось.

Собаку, кысу, теленка, петушка или даже волчонка, в тайге найденного, приручить – известное дело. А соболя или песца ручными сделать нельзя – не домашняя, дикая у них природа. Парася стала для Степана соболенком, которого он сумел сделать ласковой кысой. Сначала разговорами-беседами, потом осторожными дотрагиваниями. Приручал Парасю к себе не из гордого самомнения, не для забавы, а по велению сердца, неожиданно и сладко растревоженного. Когда Парася научилась не прятать глаза, смотреть на него, и во взгляде ее был океан любви, веры, надежды, счастья, Степан почувствовал ответственность не меньшую, чем за мировой пролетариат и всемирную революцию. Великая Цель стала вдруг почти вровень с целью бытовой – сделать Парасю счастливой, иметь от нее детей, выстроить свой семейный коммунизм.

По общему мнению, «Степан не в отца пошел», их сходство ограничивалось внешностью. На самом деле у них было много единого. И

тот и другой – фанатичные идеалисты. Только идеи разные: один бредил красотой и хотел поспорить с природой, второй мечтал о всеобщем счастье и переломе существующего миропорядка. И в отношениях с женщинами у них был одинаковый пусковой механизм чувственности – жалость. Хотя у Еремея Николаевича эта жалость не простиралась дальше полового удовлетворения – любовь к женщине никогда не была для него источником вдохновения. Степан Еремеевич, напротив, при отсутствии художественных талантов, был способен поэтизировать женщину, испытывать в ней потребность не только под одеялом.

На супрядки Степан пришел вовремя. Пасмы с пряжей уже убрали, на стол выставлялось угощение, в дом один за другим заходили парни, помогали расставить лавки, освободить место для плясок. Обмен подначками и шутками начался. Все щелкали кедровые орешки – привычное лакомство, помогавшее растворить неловкость первых минут общения.

Среди мужского пола были шестнадцатилетние недоростки, которых в прежние времена не допустили бы на вечерку, и вдовцы седые, которым новую жену положено выбирать не на гулянках, а с помощью свахи. Данилка Сорока с Сашкой Певцом явились без приглашения. Лопаткина только вздохнула: раньше неприглашенному парню можно было показать на выход да послать вдогонку обидные слова. А теперь на мужской пол недостача, всякому путь открыт. С другой стороны, без заводного Сашки с его гармонью, песнями, прибаутками супрядки выйдут скучными и пресными, в следующий раз девушки могут не согласиться на работу в уплату за гулянку.

Сашка растянул гармонь, выдал бравурную мелодию и запел частушку:

Как на Каче грязь и тина,
Там девчонки как картина.
Как на Каче грязь и кочки,
Там девчонки как цветочки.

– Ой-ка! – притворно возмущенно воскликнула одна из девушек и запела в ответ:

Ты, извозчик, подай клячу,

Увези меня на Качу.
Милый мой по Каче плавал,
Утонул, паршивый дьявол.

После обмена частушками затянули плясовые песни и начались танцы – «крутихи», в которых парень брал девушку под руку и они вращались на месте. В избе тесно – хороводы не поводишь, но в тесноте свои преимущества – можно прижаться как бы невзначай. Разгоряченные парни выскакивали на улицу – охладиться, девушки смеялись в ладошку, молодухи были откровеннее: «Унесся штаны выстужать!»

Стали играть в «Фантики», в «Золото хоронить», в «Ремяшок», в «Соседа». Смысл всех игр заключался в том, чтобы показать свое расположение той или иной персоне.

В игре «Сосед» расселись парами, Сашка – ведущий – спрашивал:

– Соседка соседа любит?

– Не любит, – отвечала девушка.

– А кого любит?

– Вон того, – показывала она пальцем на другую пару.

Парни вставали и менялись местами, пока у каждой девушки не оказывался рядом тот, кто ей нравился. Степана выбирали часто, только и вскакивал, а Прасковья особым успехом не пользовалась.

– Эх, давно я с девками не целовался! – подал клич к новой игре Данилка. Плюхнулся на лавку, подхватил ближайшую девушку и усадил себе на колени. – На проходку!

В этой игре девушки сидели на коленях у парней. Один из них, беспарный, достал из кармана горсть орехов и поклонился:

– Девки, припойте меня!

Девушки затянули проходочную песню:

Конь по бережку похаживает,
Золотой уздой побрякивает,
Золотой уздой, серебряною.
А навстречу ему девица.
Сходится близешенько...

Парень подошел к выбранной им девушке, поклонился, протянул гостинец.

Девушки громко повторили:

Сходится близешенько,
Целоваться милешенько!

Девушка встала, шагнула вперед, подставила лицо. Они поцеловались и ушли на край лавки, а оставшийся без пары молодец вышел «на проходку».

«Целовальных» игр было много, они как дозволенный акт входили в народный моральный кодекс. По этому кодексу, если девушку ненароком в укромном месте увидят в объятиях-лобызаниях с парнем, то хула-позор и ворота в дегте ей обеспечены. С другой стороны, как еще законно и прилично дать выход бурлению молодых соков? Как понять, волнуют ли тебя до внутреннего трепета прикосновения избранника, или поцелуи его оставляют сердце холодным? Только в «поцелуйных» играх. Ведущий зорко смотрел, чтобы поцелуи не затягивались, губами соприкоснулись – и только. Для того, кто нарушал, у ведущего в руках были вожжи или ремень.

Когда очередь дошла до Сороки, у Степана не было сомнений, кого он выберет для поцелуя. Сидящая на коленях у Степана Парася замерла, будто одеревенела.

Сашка, перебивая поющих девушек, заголосил:

Катилыся кадка,
Целоваться сладко.
Катилыся колесо,
Целоваться хорошо.
Из Москвы пришел приказ:
Целоваться сорок раз!

Данилка остановился напротив Прасковьи и, ухмыляясь, протянул ей сладкий пряник. Она помотала головой и вжалась спиной в торс Степана.

– Перебьёсся! – сказал он, поднимаясь и ставя девушку на ноги. – Спасибо честной компании! Будьте здоровы!

Пошел к выходу, подталкивая впереди себя Прасковью.

Данилка побелел от гнева. Сашка, несколько не огорченный позором друга, запел:

Елка сухая, топор не берет,
Милка скупая, никак не дает!

Грянул общий смех, сметая возникшую было неловкость. Одна из бойких девиц выдала частушку:

Гармонистов у нас много,
Балалаечник один.
Давайте, девки, сбросимся,
По разочку дадим!

Она шлепнула Сашку по голове кулачком, следом и от других досталось ему оплеух. Мир и веселье были восстановлены.

Степан с Прасковьей сошли с крыльца и укрылись за ним от ветра.

– Ты подумала, Парасенька? – спросил Степан, прижимая девушку к себе.

– Чего ж думать, Степушка? – глухо сказала она, зарываясь носом в отворот его тулупа и втягивая, точно зверек, родной запах.

– Соболек ты мой, – нежно шепнул Степан.

Он ее часто называл собольком, хотя Парасе казалось, что ничего в ней соболиного нет – ни бровей, ни пушистых волос. Но звучало сладко. Степан, грозный с виду, могутный, авторитетный, с ней наедине становился мягким и ласковым. Его большие руки – кулаки с голову ребенка – касались ее бережно, с заботой. Поначалу робевшая до немоты в его присутствии, Парася постепенно перестала пугаться, а потом почувствовала свою власть над этим самым лучшим, красивым, сильным, умным, наипрекрасным человеком. Она творила с ним чудо, но и он зачудил ее до остановки сердца. В его объятиях ей иногда не хватало воздуха, сердце не стучало – так бы и померла в эту минуту, не жалко, лучше уж не бывает.

– Ты чего там нюхаешь? – Степан поднял ее лицо, взял в ладони.

– Сладко пахнет.

– Да чем же?

– Тобою.

– Ах, Парасенька! – Он снова прижал ее к себе. – Голубка ты моя, пичужка...

Она хихикнула кокетливо:

– Это что за животное я? Чудо-юдо какое-то. Соболек крылатый с клювиком?

Степан тоже рассмеялся.

– Парася, нам пожениться надо.

– Хорошо.

– Но в церковь я идти не могу: ни по совести, ни по долгу, ни по положению. Понимаешь?

– Понимаю.

– Мы с тобой распишемся по новым правилам.

– Не могу я без венчания.

– Вот опять! На дворе тыща девятьсот двадцать третий год!

– От Рождества Христова! Степушка, сокол мой, я для тебя всё-всё, – торопливо заговорила Парася, – хоть девичество мое, честь... лишь для тебя, с тобой...

– Сама-то себя слышишь? Девичество, мол, бери, а в жены не хочу...

– Я хочу! Очень хочу. Только без венца – это не жена перед Богом и людьми.

– Бога нет! – досадливо отрезал Степан.

– А кто ж мне такое счастье, кто тебя подарил?

– Земные отец и мать.

– Ты им сказал?

– Сказал.

Прасковья почувствовала по его тону, что объяснение с родителями было нелегким.

– Анфиса Ивановна меня не хочет?

– Захочет, никуда не денется, – отмахнулся Степан. – Вот представь, как я в церковь...

– Я твоей мамы боюсь, – перебила Прасковья. – Она строгая и меня не любит, да?

– Не о том ты кручинишься. Замерзла? Ну, иди сюда! – Он распахнул тулуп и охватил полами девушку.

Степан понял, что Парасю ему не уговорить. Она, конечно, политически дремучая, но ведь не твердая, а мягкая и податливая до невозможности. Мягкое сломать нельзя, только растоптать. А топтать свою любушку Степан не желал. Проблема заключалась еще и в том, что с местным батюшкой, отцом Серафимом, Степан был на ножах. Поп не прощал Степану настойчивого и успешного отваживания молодежи от церкви. У них состоялось несколько резких бесед, в которых поп обвинял

председателя в бесовщине и насаждении разврата. Степан, подкованный аргументами Вадима Моисеевича, своего главного учителя и наставника, с которым поддерживал постоянную связь, твердил про опиум для народа и приводил факты: в семнадцатом году в армии отменили обязательное присутствие солдат на богослужении, и две трети перестали их посещать. О чем это говорит? Настоящей веры нет, а только принуждение. И доказательств существования бога нет, а есть только ярмо на шее трудового народа и вожжи в руках попов.

В данных обстоятельствах прийти к отцу Серафиму и просить обвенчать совершенно невозможно. Значит, надо ехать за тридевять земель, где тебя никто не знает, и искать попа, который согласится на тайное венчание.

Была середина ноября, а настоящий снег еще не лег. Землю покрывал слой белой крупы. Природа точно злилась: прятала солнце, напускала суровые ветры, стреляла ледяной картечью. Степан проехал верхом семьдесят верст и заоченел до беспамятства. Ввалился в дом к отцу Павлу, неразборчиво поздоровался и рухнул, дойдя до лавки. Попадья и поповны всполошились, принялись его раздевать и отпаивать горячим чаем.

– Какая нужда тебя, добрый молодец, заставила в такие погоды ко мне явиться? – спросил отец Павел.

– Жениться хочу, – зубами выбивая дробь о край чашки, простучал Степан. – Коня моего, там, во дворе...

– Присмотрят за твоим конем, – успокоил батюшка. – Венчаться, значит? Ну-ну. А ведь про тебя знаю. Степан Медведев, точно? Отец Серафим про тебя рассказывал.

«Откажет! – мысленно чертыхнулся Степан. – Куда мне тогда податься? Чуть не околел, а он откажет».

Но отец Павел согласился их обвенчать через две недели. То ли сыграло роль то, что жених едва не обморозился, то ли уговоры попадьи подействовали – Степан сам говорить не мог: согревшись и поев, уснул мертвецким сном. А возможно, между попами существовала какая-то конкуренция и один другому с удовольствием утер нос. Как бы то ни было, договор состоялся.

Обратный путь был веселее: ветер неожиданно утих, невидимые облака рассеялись, на бархатно-черном небе сияли звезды – дырки в Царствие Небесное, а самые большие врата в него – лунные – освещали путь. Сравнение с Царствием Небесным пришло атеисту Степану в голову не иначе как благодаря тому, что он прикладывался к фляжке с крепкой брусничной настойкой, которую отец Павел дал ему для внутреннего

согрева и с наказом вернуть. Не пустую, понятно.

В ночь перед венчанием Прасковья не могла уснуть. Ей, конечно, было обидно, что выходит замуж тайно. Не было ни сватовства, ни обряда расплетания косы, ни девичника. Не украшались сани свадебного поезда, не готовился пир на несколько дней. Однако эти утехи не шли в сравнение с тем, что она приобретала, с тем гордым довольством, которое испытала, когда Степан сообщил о скором венчании. Он просил держать секрет, но ведь завтра все и так узнают.

Прасковья, встав с постели, пробежала через комнату, забралась к матери под одеяло, прижалась к ней, как маленькая испуганная девочка.

– Ты чего? – сквозь сон пробормотала Наталья Егоровна, обнимая дочку. – Ноги ледяные. Приснилось страшное?

– Мама, я замуж выхожу. Степан увозом меня берет.

Наталья Егоровна мгновенно проснулась и запричитала. Против Степана в качестве мужа Параси она ничего не имела. Да и у кого язык повернется забраковать такого выгодного жениха? Опять-таки, Парася в него влюблена, без очков видно – расцвела девка, вся так и светится. Но почему тайно-то, по-варнакски?

Прасковья с жаром объяснила, что Степану не положено венчаться по законам новой власти.

– Зачем же нам власть, которая блуд привечает? – разумно спросила мама.

На этот вопрос у Параси не было ответа, но она с утроенной силой принялась оправдывать Степана (слышал бы он ее в этот момент!) и возносить ему благодарность за то, что ради любви, ради Параси, пошел против своего партийного закона.

Подъехав к дому Солдаткиных на выездных санях – с облучком и расписной спинкой, – Степан не стал вызывать невесту условным знаком – свистом. В доме горел свет, значит, не спят. Он оставил брата Петра в санях, а сам зашел в дом. Поздоровался, поклонился Наталье Егоровне и попросил руки ее дочери. Не по уставу говорил, но с извинениями и волнением:

– Простите, Наталья Егоровна, что беру вашу дочь увозом. Тому есть политические обстоятельства общей обстановки и мои личные. Я Прасковью люблю всем сердцем и обещаю вам беречь ее дороже счастья. Мне без Параси счастья нет.

Наталья Егоровна смахнула слезу и для благословения взяла в руки

икону, с которой заранее вытерла пыль, натерла льняным маслом. Степану пришлось целовать икону и потом, в церкви, снова прикладываться к доскам с намалянным образом, креститься неоднократно. Пережил – губы не отсохли, и лоб не треснул.

По первоснежью управляемая Петром тройка обратной дорогой бежала резво, и у молодых, сидевших тесно обнявшись, закутанных в меховые дохи, настроение было радостным и возбужденным. Состояние – как вдох, длинный сладкий вдох чистейшего пьянящего воздуха, который хочется втягивать бесконечно. Снежная крупа, вырывавшаяся из-под лошадиных копыт, бившая им в лицо, таяла на горячих щеках, и казалось, будто они плачут от счастья и слезы их смешиваются.

Парася думала: «Вот бы так мчаться и мчаться по лесным дорогам, мимо вековых елей, по проселкам и берегу реки, в теплых объятиях мужа (как непривычно это слово!) и не страшиться предстоящего – жизни в Степиной семье, грозной Анфисы Ивановны...»

У Степана впервые в жизни было ощущение, что поймал судьбу за хвост, что выиграл в лотерее, в которой сто миллионов участников остались ни с чем. И в то же время он чувствовал, что пропал, угодил в капкан, но при этом был счастлив, и вздумай кто-нибудь его из капкана вызволять, воспротивился бы изо всей мочи. На него навалилась ответственность за Парасю, и эта ответственность пугала, потому что была внове, однако если бы у Степана попробовали забрать его новую ответственность – вцепился бы руками и зубами. Его сердце дробилось на части, но при этом стучало ровно и спокойно, оно хотело вырваться из груди, укатиться вперед, обгоняя сани, пушечным ядром взмыть в небо и взорваться разноцветным фейерверком.

– Стёп! Ты что? – тихо и ласково, прямо в ухо, спросила Парася, когда он принялся своим громадным носом тереться о ее щеки и не то мурлыкать, не то рычать.

– Я тебя люблю! Ах, как я тебя люблю!

– Всё ж таки я сильнее люблю, – проворковала она. – От верхушек до кончиков и навсегда. Мне страшно и радостно, как я люблю.

– Тебе страшиться нечего.

– Думаешь? – вздохнула Парася, боявшаяся встречи со Степиной матерью.

– Ты теперь замужем – «за мужем», то есть за мной.

– Му-у-уж... – протянула она, точно пробуя это непривычное слово на вкус.

– Же-е-ена-а... – подхватил Степан.

Петр оглянулся на смех. Брат и его новоиспеченная супруга хохотали, как хохочут люди без повода, когда им нужно выпустить пар, дать волю неудержимым чувствам.

Сватовство

После отъезда молодых Наталья Егоровна не находила себе места. Убрала в доме, растопила печь, поставила хлеб, приготовила завтрак для свекра и двух младших детей. Девятилетнего Ваню мужу, погибшему на войне в четырнадцатом году, не довелось увидеть. И прочитал ли он письмо перед смертью, узнал ли, что долгожданный сын родился, – неведомо. Когда уходил, Парасе было восемь, а средней дочери Кате – шесть. Свекровь несчастным случаем погибла в начале зимы шестнадцатого года – провалилась на реке в полынью, стянутую тонкой коркой льда и припорошенную снегом, невидимую. По общему мнению старожилов, не обозначить жердями полынью после рыбалки могли только поселенцы, но не пойман – не вор, никто в злостной небрежности не покался. Свекор, оставшийся за главного, и Наталья Егоровна, не обладавшие хваткой и сметкой Анфисы Ивановны, едва сводили концы с концами. В последнее время свекор стал прихварывать, незаметно для себя Наталья стала называть его дедушкой, вслед за детьми, а не батюшкой, как прежде.

Промаявшись несколько часов, она оделась и пошла к Агафье – своей сестре и крестной матери Прасковьи. Услышав новость, крестная разбушевалась: увозом венчаться – на всю жизнь клеймо, не сотрешь! Теперь уже Наталья Егоровна, оправдывая Степана, говорила про «обстоятельства» и «политику». Последнее слово часто звучало, но бабы толком не понимали его значение и постепенно политикой стали называть все, что входило в противоречие с нормальным жизнеустройством – войны, бунты, продразверстки, жестокие, а то и нелепые приказы новой власти.

Агафья Егоровна, по характеру более решительная, чем сестра, постановила идти к Медведевым, разведать обстановку. Это означало – настроение Анфисы Ивановны. С сегодняшнего дня Прасковья поступала под полную власть свекрови. Муж, конечно, силу имеет, но больше по ночам. От зари до зари невесткой командует свекровь со всеми вытекающими последствиями, которые есть судьба женщины.

Жизнь девочки-девушки до замужества представляла собой подготовку к семейной жизни. Ее учили пряхсть, вышивать, шить, ткать. С семи лет она уже сама готовила себе приданое и подарки родственникам будущего мужа, вручаемые на свадьбе. В шестнадцать лет она умела доить

корову, работать на сенокосе, обрабатывать лен и коноплю, чисто убирать в доме и на подворье, ходить за малыми детьми на примере младших братьев и сестер. Если таковых не было, то у родственников нянчила. С семи лет, после первых заданий по пригону гусей, объем учебы нарастал, и к восемнадцати девушка становилась полноценной работницей. Но мать никогда не учила ее готовить еду. Потому что невестка не должна нести в мужний дом привычки и рецепты родного дома. Хозяйничать в кути у печи с казанами, кастрюлями ее наставляет свекровь. Чтобы девушка, когда придет время, сама став свекровью, передала семейные обычаи собственной невестке. Так вот и получалось: свекровь могла держать Прасковью в кути на легкой, приятной работе, а могла без продыху гонять как рабыню – заставить невестку драить песком и специальным ножом-скребком пол, столы, лавки, доить коров и коз, кормить скотину, таскать тяжеленные чаны, убирать на заднем дворе в стойлах. А потом еще нос морщила бы – мол, от невестушки навозом несет. И никто свекрови слова поперек не скажет: ни муж, ни родная мать молодухи. Муж, то есть сын, пусть не лезет в бабьи дела, а родная мать свое уже сделала: спасибо, получили работницу – криворукую неряху.

Агафья Егоровна робела не меньше Натальи, но, в отличие от младшей сестры, умела свои волнения подавлять внутренними установками: «А что я делаю неправильно?» и «Бог не выдаст, черт не совратит». Кроме того, Агафья, имевшая троих сыновей, любила племянницу и крестницу как родную дочь и всегда переживала, что у Парасеньки характер стеснительный, не бойкий, заклюют нашу тихую горлицу.

В доме Медведевых завтракали – неспешно, по-зимнему, не торопясь на срочные работы. За столом сидели Анфиса Ивановна, Еремей Николаевич, невестка Марфа, маленькая Анна, которую все звали Нюраней, и двое работников.

Работников по нынешним скудным временам мало кто нанимал, тем более в зиму. Однако работники – это показатель богатства. Кроме того, сорокалетние Аким и Федот, чью правдивую историю знала только Анфиса, приросли к семье Медведевых, как вырванное и выброшенное растение, большинство корней которого погибло, цепляется слабыми побегами за новую почву.

Двоюродные братья Аким и Федот были родом из дальней, вниз по Иртышу, деревни, где климат суровее, чем в Погорелове. Про такие места говорили: «Репа не каждый год вызревает». Зато люди на севере вызревали

упрямые и прижимистые в том смысле, что высоко ценили плоды своих тяжких трудов. Когда новая власть принялась выгребать «излишки» и вспыхнуло Восстание, крестьянский сибирский бунт, Аким и Федот воевали против большевиков, за что дома их сожгли, а родных вырезали: стариков с печи стащили и младенцев из люлек вытащили, никого не пожалели. Аким и Федоту удалось бежать, а потом прибиться к Анфисиному дому. Сыну и мужу Анфиса с точностью до наоборот объяснила: Аким и Федот за советскую власть голос подавали, не хотели к восставшим примыкать, а те в отместку их семьи погубили, некуда мужикам податься, пусть живут, трудятся за прокорм. Физически Аким и Федот были крепкими, а душами израненные, слабые.

Анфиса Ивановна умела молчать. Когда она раскрывала рот и поносила всех, кто виновен и кто под руку попался, люди вжимали голову в плечи. Но ее молчания страшились больше. Анфиса Ивановна застывала – выпрямив спину, растянув шею, и нос ее, без того нехрупкий, становился как бы крупнее, орлинее. И это была уже не женщина, а какое-то существо наивысшее, черные глаза которого прожигали насквозь. И покориться этому существу казалось удовольствием, напоминающим детское, когда после родительского наказания, собственных горьких слез, маминого прощения мчишься выполнять ее какое-нибудь пустяковое распоряжение с таким пылом, словно наградой будет дюжина сладких пряников.

На приветствие сестер Солдаткиных отозвались все, кроме Анфисы. Она буркнула что-то нечленораздельное и застыла: подбородок задрала и глядела в сторону. Это было вызывающе грубо, невежливо, некультурно.

Степан так и не извинился, о сватовстве более разговора не заводил. Подначенный супругой Еремей спросил сына: «Дык что с твоей женитьбой?» – «Поживем – увидим», – ушел от прямого ответа Степан. И вот теперь приперлись сестры Солдаткины. Неспроста – подсказало сердце Анфисе. Что-то произошло помимо ее воли и участия – значит, недоброе и неправильное. В этой ситуации самое лучшее – грозно молчать. Правильно молчать – она знала точно – вернейший прием. К сожалению, для молчания сил требовалось больше, чем для крика.

Зыркнув на жену, превратившуюся в монумент, Еремей поднялся и с улыбкой пригласил гостюшек скинуть верхнюю одежду и разделить с ними трапезу. Даже помог снять шубейки, передав их потом на руки Марфе.

Вдовицы Наталья и Агафья, поразившись такому галантерейному обращению, а еще более – ласковой улыбке Еремея, одинаково про себя восхитились: «Мужик-то какой!» Но продолжение мысли было у них

разным.

«Счастливая Анфиса! – позавидовала Агафья. – Мы-то давно забыли, как мужицкий пот пахнет. Еще одна-две войны, и придется мужиков, как племенных быков, по дворам водить».

«Степан на отца похож, – подумала Наталья, – такой же справный и могутный, и улыбка у них хорошая, добрая. Славные детки у Параси будут».

Марфа поставила на стол тарелки и чашки для гостей. Разговор поддерживал Еремей Николаевич – о погоде, о ценах на обмолот, пушнину, убой дикого зверья и рыбу. Рассказал смешную историю времен своего пребывания в самарском госпитале. Наталья и Агафья смеялись с излишней готовностью, Нюраня заливалась, работники ухмылялись, Марфа прятала смешок, прикрыв рот ладошкой, и только Анфиса Ивановна сидела с каменным лицом. Ей показалось, что муж, едва заметно кивнув в ее сторону, как бы сказал гостюшкам: да пусть пыжится, не обращайтесь внимания.

В Сибири гостеприимство считалось важнейшей добродетелью. Но в гости обычно ходили по приглашению на престольные и семейные праздники. К приему гостей готовились: мыли дом до зеркального блеска, стряпали праздничные блюда. Без крайней нужды, по прихоти, никому не приходило в голову заявиться к кумовьям, родственникам или сватам. Отрывать от работы, сбивать заданный ритм трудов – грубость и невежество. Если у бабы имелась в клюве какая-то совсем уж горячая сплетня, она могла вызвать подружку, сестру или соседку на двор, быстро «сообщить» и убраться восвояси. То же касалось и мужиков, хотя у них, конечно, не сплетни, а политика. Еще бабы нарядами щеголяли и приготовленными яствами хвастались, отводили душу за пересудами на «беседках» – исключительно женских посиделках.

Приход сестер Солдаткиных, незваных, принявших приглашение разделить трапезу, усевшихся за стол, означал только наличие чрезвычайной новости. Все ждали ее оглашения, работники, по пятой чашке чая потягивающие, в том числе. А Еремей под одобряющими взглядами Натальи и Агафьи Солдаткиных витийствовал, красовался. Анфиса давно за ним ведала – иногда любит напылить. Бабы думают – для их восхищения, а он для собственного удовольствия. Настроение игривое у него сегодня, вчера что-то удачное навыврезал из своих дощечек, а если бы не ладилось его пустопорожнее занятие, то не рассиживал бы, улизнул – разбирайся, жена, сама, какая нелегкая принесла этих баб.

Ритуал встречи незваных гостей затягивался, и молчание Анфисы на

фоне общих смешков выглядело теперь, спасибо муженьку, нелепо.

Пришлось ей разомкнуть уста, отдать распоряжения:

– Аким – молоть ячмень. Федот – кузнецу отведи коней на перековку.

– Трех забрали Степан Еремеевич и Петр Еремеевич, – ответствовал Федот. – В выездные сани впрягли и ночью на тройке отбыли.

«Что ж ты до сих пор молчал?!» – в другой ситуации взвилась бы Анфиса. Но тут никак не отреагировала, только зыркнула гневливо и дернула головой в сторону двери – убирайтесь! Федот выходил понурым – рассердил хозяйку, он-то думал, по ее наказу сыновья уехали.

Наталя и Агафья намотали на ус: всем распоряжается Анфиса Ивановна, а Еремей Николаевич ни сожаленья, ни стыда не выказывает оттого, что жена вместо него командует. Ставки Еремея заметно упали.

Анфиса, у которой кончалось терпение, обратилась к гостям:

– С чем пожаловали?

От такой грубости Еремей скривился, Марфа всхлипнула, как от тычка, и даже Нюраня хрюкнула от удивления – мамаша ее «за воспитание» часто ругает, а сама ведет себя невежливо.

Мысленно сложив факты, Анфиса уже поняла, что случилось. Степан хотел жениться на Прасковье Солдаткиной и этой ночью с братом уехал. Куда? Венчаться. Степка-то безбожник и с отцом Серафимом в контрах. Значит, отправился куда-то далеко, и вынудила его Параська, которая, получается, над ее сыном большую власть имеет. Теперь пришли Наташка и Агашка – хвостами мести, обстановку разведывать.

По большому счету, развитие событий устраивало Анфису. Степан наконец женился и взял свою, местную – тихоню Прасковью, из которой можно веревки вить. А то, что на первых порах Параська верх взяла, так это дело временное. У невестки помыслы, а у свекрови промыслы. Главное – Степан не привез из города девку в красной косынке. Про них жуть срамную рассказывают.

Наталя и Агафья Егоровны, мекая, заикаясь, рассказали про увоз. Не смогли скрыть печали: свекровь невзлюбит их Парасеньку – иного мнения, глядя на Анфису Ивановну, сложиться не могло.

У Анфисы были два варианта поведения. Первый: потеплеть, принять случившееся с христианским смирением, обняться с новоиспеченной сватьей и начать приготовления к свадебному пиру, сетуя на скромность угощения из-за скорых обстоятельств. Еремей знал, что в любых обстоятельствах, и в нынешних в том числе, когда продукты от реквизиторов прячут в схронах, Анфиса могла закатить пир горой. Он надеялся и взглядами предлагал жене поступить именно так. Второй

вариант: сохранять ледяное равнодушие, не выказывать эмоций, что означало категорическое неодобрение случившегося.

Еремей раньше других понял, к какому решению склонилась жена. Мысленно чертыхнулся: «Турка каменная! Была царь-девица, а теперь из себя королеву Несмеяну корчит!»

Когда пришли гости, Анфиса смотрела на правую сторону комнаты. Пока они говорили, буравила их насмешливым взглядом, теперь же, выслушав презрительно и молча, повернула голову и уставилась на печь. Еремей понимал, что жена ведет себя грубо, но воспитывать ее в присутствии посторонних было недопустимо. Да и в отсутствие – хлопотно. Он пожал плечами и окончательно упал в глазах Натальи и Агафьи.

Нюрания, не понимая ситуации – подтекстов, намеков и невысказанного, – видела, что с мамой происходит неладное. Мама давно страдала какой-то болезнью, которая называлась вроде... вроде «замок». Что-то у мамы внутри запиралось, и во время приступа она белела от боли, не могла двинуться, просила лекарство. Название лекарства Нюрания помнила.

– Марфа! Скорее, Марфа! – закричала девочка. – Видишь, маму опять заперло! Касторки ей! Касторки!

Еремей зашелся от смеха, раскачиваясь, стукнул головой по столу. Марфа бросилась в куть, чтобы свекровь не видела ее смешка. Гости закусили губу, подавляя ухмылки. Анфиса от возмущения – спектакль провалился – теперь застыла по-настоящему. Наталья и Агафья поспешили распрощаться.

Когда Еремей возвратился из сеней, проводив гостей, Анфиса ожесточенно лупила дочь. На одну руку намотала косу Нюрании, больно прихватив у затылка, так, что девочка вывернула голову, другой рукой била наотмашь – куда придется.

Еремей выхватил дочь, прижал ее, рыдающую, к себе и попенял жене:

– Что ты, Турка, бесишься? Что ты не даешь жизни ни себе, ни людям?

– Я-а-а?! – заголосила Анфиса. – Я плохая?! Тогда берись сам, – она кругом повела руками, – берись за все, командуй, хозяин! Хватит бока мять! Как с войны пришел, ни одного заказа! А он досточки режет! Кому они нужны?! Кто семью кормить будет?!

Она поносила мужа, и все обвинения ее были справедливы. Но на самом деле ей хотелось сказать... даже не сказать (потому что в слова правильные и точные Анфиса облечь свою боль не могла), а выплеснуть на

единственного рокового мужчину главный упрек – в том, что он, как никто другой, знает в ней хорошее и плохое и видит, что плохое чаще всего берет верх, так пусть бы сам из нее хорошее к свету тащил. И надо для этого малость – ласковое внимание да одобрение, теплоты сердечной хоть крупинка, заботы искренней хоть капля. Она, Анфиса, ради семьи гору готова свернуть, а при Еремином одобрении – все горы земли.

Ерема, обняв за плечи дочь, успокаивая, обещая вырезать ей красивое веретенце, ушел в другую комнату. Горе Нюрани было тем сильнее, что она не понимала, за что наказание. Хотела маму захворавшую полечить, а мама рассердилась.

– Чего ты там возишься? – развернувшись к Марфе, гаркнула Анфиса. – Сказано было варево делать!

Ничего подобного сказано не было. Вчера квасили капусту, набили три бочки шинкованной вперемешку с кочанами, разрезанными на четыре части. Сегодня планировали закончить, еще одну бочку наполнить. Вариво – полуфабрикат для похлебки – обычно готовили по весне. Но Марфе и в голову не пришло указывать на вдруг сменившиеся планы. Она только спросила, сколько брать мяса и овощей.

Для варива на жире обжаривали рубленое мясо, овощи, лук. Отдельно на другой сковороде – муку, которую постепенно всыпали к мясу. Из остывшей густой массы катали шарики, затем подсушивали их в печи. Для похлебки было достаточно опустить шарик в кипятки – получалось сытное вкусное вариво. Шарики брали, когда уходили из дома – на покос, в лес за грибами и ягодами, на охоту, на ямщицкий промысел.

Прощение

Петр и Степан с новоиспеченной женой ввалились в дом, когда Анфиса с Марфой и Нюраней, сидя за столом, катали шарики варева. Марфа, бросив короткий взгляд, отметила, что Степан обнимает за плечи Параську, а та испуганно прильнула к нему, у всех троих возбужденные, румяные с мороза лица.

– Крепче катай, – повернулась Анфиса к дочери, – чтобы пустоты внутри не было.

– Мама, – позвал Степан, – вот моя жена Парася. Прошу любить и жаловать.

– Марфа, у тебя в печи не подгорит? – спросила Анфиса невестку.

Петр загоготал, как всегда гыгыкал при любом напряжении – радостном, веселом или тревожном, скандальном.

– Анфиса Ивановна! – повысил голос Степан. – Вы меня слышали?

– Не глухая пока что. Молодец, доченька, теперь хороший кругляшок у тебя получился.

– Я женился!

– И что? Ты нашего с отцом благословения не спрашивал, тайно все обделал...

– Тому были причины!

– ...честное тайным не бывает, – закончила Анфиса.

Она говорила спокойно, медленно, чтобы в речах ее услышались равнодушие, брезгливость, которых и в помине не было у Анфисы на сердце. Прасковья обмерла, еще теснее прижалась к Степану, хотя понимала, что поза их недопустимо вольная. Она боялась свалиться на пол в беспамятстве – так силен был ее ужас.

Парася навсегда запомнила эти минуты – скорый переход от счастья к обморочному страху. Только что была веселая езда в санях по первоснежью, в объятиях любимого под дохой из волчьих шкур, и ноги согревала полость из шкур медвежьих, и ветер холодил только лицо, но ему и надо было остужаться, потому что щеки пылали радостным огнем и переполняло ощущение наступившей долгожданной благодати, готовности всех любить, распахнуть душу... И вот пожалуйста – приехали! Тебя окатили ледяным презрением, и ты без сомнения знаешь, что впереди не радость, не тихое счастье, а горькое лихо – вечные попреки, укоры, а то и зуботычины. Если бы ноги Параси не отяжелели чугунно, наверное,

развернулась и убежала бы к маме.

Степан усадил жену на лавку, подошел к Анфисе Ивановне, оперся ладонями на стол и приблизил к ней лицо.

– Мать! Ты лучше охолони! – процедил он сквозь зубы. – Как бы потом не пожалела.

Он называл мать и на «вы», и на «ты». Когда был добр и почтителен, весел или хмелен – «вы» и по имени-отчеству, когда злился, желваки ходили и глаза молнии пускали – «ты».

Анфиса смотрела на него снизу вверх. На своего сыночка, свою надежду, гордость, смысл ее существования. Степан единственный был похож на нее внутренней силой и крепостью. Ей, Анфисе, стоило появиться на свет только затем, чтобы родить и воспитать Степана. Работать до седьмого пота и других принуждать, копить добро, изворачиваться, прятать его, когда наступили времена бандитских конфискации, – все для Степана, только он оправдал бы любые ее жертвы. И вот теперь сын смотрит на нее с неприкрытой злобой, его губы нервно кривятся, сейчас с них сорвутся проклятия. За что? Муж и сын... два самых дорогих... За что?

Горло Анфисы стиснуло судорогой, на глаза навернулись слезы. Степан наблюдал, как дергалось лицо матери с бледными, едва заметными шрамами, – это она располосовала щеки, когда умоляла его не ходить на германскую войну. Тогда Степан не смог отказать, молодой был, глупый, да и к лучшему сложилось.

Степан знал, что мать его любит неистово. Петру и Нюране половины той любви не достается. Сам он, конечно, мать тоже любил, глубоко уважал, восхищался, гордился ею и по возможности старался границ не переходить. В его распоряжении было безотказное оружие – мать всегда можно утихомирить лаской и покаянием, пусть отчасти насмешливым. Но теперь было не до шуток. На глазах Анфисы Ивановны набухли слезы, и в них стояли боль и обида такой силы, что Степан ужаснулся тому страданию, на которое обрек мать. Она редко плакала, такие случаи по пальцам пересчитать, на похоронах даже самых близких людей прикладывала к глазам платочек, остававшийся сухим. Мать, гордая и своевольная, никогда не использовала бабских хитростей, вроде рыданий и причитаний о себе несчастной, чтобы добиться своей цели. Мать скорее выцарапает себе глаза, чем позволит кому-нибудь увидеть свою слабость.

Ярость Степана схлынула, на ее место заступили раскаяние, жалость к матери, которая страдает на пустом месте, но отчаянно, и он причина материнского горя.

Степан бухнулся на колени, уткнулся лицом в ноги Анфисы Ивановны, глухо забормотал:

– Прости! Матушка, прости меня! Нас прости! Христом... – Он запнулся и договорил: – Христом Богом прости!

После венчания и целования икон – главного отступления от принципов – уже не имело значения, разом больше или разом меньше упомянуть несуществующего бога и поклониться им.

Еремей вошел в комнату и оценил обстановку. Петр гогочет в кулак; на лавке, вдавившись в стенку, сидит испуганная Прасковья; пунцовощекая Марфа нервно мнет в руках заготовки варева; Нюраня, уже наредевшаяся сегодня всласть, не знает, положено ей плакать или можно погодить, и смотрит на отца вопросительно. Степан на коленях перед матерью что-то бормочет, у Анфисы подозрительно блестят глаза, но губы искривились в улыбке, робкой и болезненной – такую улыбку на лице жены Еремей видел только после родов, когда обессиленная Анфиса впервые брала на руки новорожденного ребенка.

– Все хорошо, сыночек! – гладила Анфиса сына по макушке. – Все теперь хорошо, кровиночка моя. – Она тряхнула головой, прогоняя слезы, и обратилась к мужу: – Неси, отец, иконы!

Через час началась круговерть – Анфиса командовала подготовкой к завтрашнему свадебному пиру. Прасковья и Степан прошли по деревне, приглашая гостей, отобранных Анфисой. Степан не посмел воспротивиться матери – Прасковья войдет в дом завтра, честь по чести, а пока пусть у себя пребывает. Однако Степан настоял – без гулянок в последующие дни, никаких обходов родственников и крестных (прежде свадьбы неделю и более продолжались), людям самим есть нечего, и вводить их в расход нельзя. Также отменяются дремучие обычаи вроде удостоверения девства невесты. Если кто-нибудь заявится на второй день и потребует простыню или ночную рубашку Параси, Степан этого интересанта лично выкинет с крыльца.

В памяти поколений, переживших исторический слом общества или тяжелые войны, всегда есть свое «до» и «после». У российских крестьян в двадцатые годы двадцатого века рубеж разделял эпохи «при царе» и «ноне». Для сибирских земледельцев сравнение чаще всего оказывалось в пользу «при царе», потому что тогда жили богаче и сытнее, чем «ноне», да и нравы были строже. Увозом, конечно, и прежде женились. Родители не хотели отдавать дочь безродному нищему переселенцу или не желали

отпускать дармовую работницу, мол, пусть еще отцу с матерью «за воспитание оттрудится», ведь вошедшая в возраст сибирячка – это большая производительная сила. И приходилось девушке тайно выносить из дома и прятать одежду и что-то из приготовленного приданого. Потом в оговоренный день жених с дружками на быстрых конях увозил ее в дальнее село, где за немалую мзду поп их венчал. Родители девушки обязательно снаряжали погоню и пускали по всем дорогам, но настигали молодых редко. Не потому что трудно было догнать, а потому что самим во вред. Девка уже как бы порченная, с плохой биографией, ей на хорошую партию рассчитывать не придется. В доме жениха, куда приезжали после венчания, устраивался небольшой обед, на второй или третий день молодые ехали каяться к родителям невесты. Те поначалу сыпали проклятиями и упреками, на головы и спины коленопреклоненных молодых сыпались удары: отец размахивал плетью, а мать ухватом. Затем следовали прощение, примирение и опять-таки застолье, но не широкое, без многих гостей. Поскольку бедноты «при царе» в Сибири водилось мало, редки были и случаи, типичные для Центральной России, когда две семьи, чтобы не играть свадьбы, не тратиться на многодневное застолье и подарки, сговаривались и парень увозил девушку от якобы ничего не ведающих родителей. Если же такое и случалось, то представление с погоней, проклятиями и прощением обязательно имело место. Увозом вышедшая замуж девушка не только лишалась самого значимого в жизни пира – свадебного, но и не могла претендовать на приданое. Что успела из дома тайно вынести, тем и довольствуйся, а в сундуках оставшееся, ею же самой с детства тканное, вязанное и вышитое, переходит в родительское распоряжение.

В сложившихся обстоятельствах Анфиса не была обязана закатывать пир горой, а Степан одаривать тещу, молодую жену и ее родню. Но чтоб Степан Медведев женился как последний нищий переселенец?! Анфиса порылась в сундуках и вытащила на свет куцавейку новую, по красному шелку стеженную золотой нитью, с опушкой соболиной, одно из лучших творений Модистки Лопаткиной, – для сватьи, отрез тафты – для крестной матери Параси, тулуп волчьего меха, крытый фабричным сукном, – для Парасинога деда, шапку бобровую – Парасиному брату на вырост, сарафан голубого атласа с узорами и блузку белую с пышными рукавами – сестре Параси. Подарки родным невестки были щедрыми, а ей самой – королевский. Бусы жемчужные, кольцо и сережки с изумрудами да рубинами – так-то, знай наших!

В это же самое время Парася, ее мать и тетка хлопотали у своих

сундуков, выбирая дары Медведевым. По ценности они не шли в сравнение с теми, на которые могла расщедриться Анфиса Ивановна, однако каждая вещь: полотенца, рубахи, мужские кушаки, девичьи повязки на голову, украшенные бисером, коврики – все хранило тепло Парасиных рук, ее многолетние мечты о хорошем муже.

Анфиса не любила одалживаться, просить о помощи. Муж считал, что всему виной непомерная Анфисина гордость. Объяснение неточное и расплывчатое. Что гордость? Качество, близкое к глупости. На гордых да обиженных воду возят, а попробуй Анфису запряги. Она была крайне свободолюбива и отметала любую зависимость – от чужой воли, доброты, сочувствия. Если тебе кто-то помог, ты неизбежно попадаешь в зависимость от этого человека. Конечно, есть люди что болотная яма – сколько ни кидай, всё засосут и не подавятся. Анфиса не из таких, она лучше десятикратно переплатит, чем бесплатно получит. Видеть же удовольствие на лице человека, оказавшего ей помощь, – нож острый. Анфиса не допускала мысли, что люди помогают от чистого сердца и без корысти (как она сама нередко делала), что они радуются без задней мысли, не планируя получить в будущем ответную плату.

Но за сутки в одной печи не наготовить яств на праздничный стол, и без помощи других баб не обойтись. Пришлось Анфисе наступить на горло своим принципам – не только поварского содействия просить, но и одалживаться продуктами.

Наученные продрозверстками крестьяне держали лари полупустыми, в амбарах ветер гулял. Муку, зерно и продукты прятали в дальних схраонах или закапывали в огородах. Собственных наличествующих припасов Анфисе не хватило бы, а Федоту и Акиму быстро не обернуться, съездив на тайные заимки. Только работники и знали места этих схраонов, в которых добро пряталось прежде всего от Степана, который в селе первый большевик. Из-за секретных припасов у него с матерью было несколько стычек, которые испортили их отношения в последнее время. Пирог сдобный он трескает за обе щеки и при этом хочет унести из дома последнее! «Последнего» у Анфисы было три склада. И возратить одолженные продукты она собиралась с лихвой. Еще одно утешение – не пришлось ходить по дворам, кланяться. Прослышав новость, бабы сами пришли «на помочи».

Анфиса распределила работы между хорошими стряпухами: двоюродными сестрами, кумами, соседками. В дюжине домов парилось, жарилось, варилось, пеклось на свадебный пир. Студни, холодцы, мясо большими кусками, поросята молочные, пироги с разными начинками...

Пиво варить некогда и казенного вина не купить, зато самогона, медовухи и настоек – залейся. Из безалкогольного – морсы, взвары, сбитни. Молодым надо обязательно подать жареную птицу. Когда Анфиса выходила замуж, свадебный стол украшали жареные лебеди. Но теперь не до лебедей, петушками ограничились. Особая забота – свадебный каравай. Он состоял из трех ярусов: первый, витиевато украшенный, – молодым, второй – гостям, третий, в который запекаются монетки, – музыкантам. Но всех музыкантов будет только Сашка Певец с гармонью.

«Чисто фельдмаршал!» – усмехался Еремей, наблюдая, как Анфиса, ни на секунду не прекращая шинковать, взбивать, перемешивать, ставить в печь и вынимать из печи, отдает распоряжения взводу помощников: как расставлять мебель, какие скатерти стелить, посуду из каких сундуков и горок доставать, перемывать...

Ей нужно было держать в голове сотни памяток – от угощений (девяти перемен, конечно, не будет, но пять, включая вафли, хворост, пряники, другое сладкое печенье к чаю, она, кровь из носа, обеспечит) и сервировки до правильной рассадки гостей за столом, от праздничных нарядов, в которые облачатся Медведевы и их работники, до подготовки горницы для первой брачной ночи молодых. Мебель навоощить, зеркала вином оттереть, на окна чистые занавески повесить... Нет конца и края заботам.

Назвав жену высшим воинским званием, Ерема подумал, что никакой генерал не сумел бы отдавать приказы по двадцати фронтам одновременно. Недаром про рачительную хозяйку говорится: эта баба, пока с печи летит, семь дум передумает.

Истовее всех, как заведенная, трудилась Марфа. Сноровистая, она намного опережала трех других молодых, приглашенных на помочи. Хлопоты были Марфе в облегчение. Она всегда знала, что ни на какие отношения со Степаном ей рассчитывать не приходится, – грешно, да и не выказывал он расположения. Но ведь любовные мечты не льдинка на ладошке – не стряхнешь их, как талую воду, пальцы не вытрешь и не забудешь. Пока Степа был холост, эти мечты все-таки имели чуточку надежды, а теперь осталось только чувство безысходности и смертельной тоски. Марфа попробовала утешить себя тем, что всегда будет рядом с семьей Степана, станет нянчить его ребятишек... Эта мысль отозвалась такой болью, что она невольно застонала, рука дрогнула и нож саданул по пальцу.

Анфиса Ивановна быстрым взмахом откинула ее руку от стола, чтобы закапавшая кровь не испортила раскатанный сочень теста.

«Сейчас скажет, – подумала Марфа, – что я балда криворукая».

– Вроде не глубоко? – спросила свекровь. – Промой и тряпицей завяжи. Потом становись блины печь. И гляди, шоб ни одной дырочки!

Хотя Степа запретил многодневное гулянье, ко второму дню надо было подготовиться. Заглянут гости – не выгонишь. На второй день подавались блины и обязательно без дырочек – как символ целомудренности невесты.

Несмотря на бешеную круговерть мыслей, предельное напряжение, боязнь запамятовать не только что-то важное, но и мелкое, досадливое, способное испортить завтра впечатление, вопреки необходимости постоянно отдавать распоряжения и проверять их исполнение, Анфиса пребывала в добром расположении духа. Если и покрикивала на помощниц, то без злобного рыка; если и досадовала, то недолго. На душе у нее был праздник – Степушка женился. Теперь все как у людей, как положено. Детки пойдут, род продолжится.

Мама несколько раз назвала Нюраню умницей, донечкой и помощницей. Нюраня была на седьмом небе. В доме кутерьма, народу полно, все хлопочут, постоянно девчонки-ровесницы в избу влетают, о чем-то спрашивают или просят – жиру рыбьего, перцу жгучего, масла топленого. И саму Нюраню мама с поручениями то и дело отправляет – отнести лукошко яиц или круг замороженного молока, или на саночках отвезти кочаны капусты, разузнать, хорошо ли творится тесто на свадебный каравай. Носятся девчонки из конца в конец села – весело!

Восстание

Степан в приготовлениях к свадьбе не участвовал. Весь день он провел в правлении – в избе, которую Обчество лет двадцать назад специально поставило для почета и значимости. Мол, у них в селе, как в городских присутствиях, – в особом помещении дела решаются, куда можно проверяющих пригласить, шкафы распахнуть и с полок бумаги достать, всю отчетность предоставить – по податям и по недоимкам, которых никогда не было (не позорились перед властью, за неимущих платили, сбрасывались). Бумажную канцелярию вел ссыльный Жид. Он и по роду был жид, и по прозвищу прикипевшему.

Хороший человек, чернявенький, как муравьишка, подышал на этапе. Бабы сельские конвоирам сказали: «Не сегодня-завтра преставится. Куда потащите? Схоронить не сможете. Хоть и жид, а душа христианская. Оставьте, мы похороним по-человечески. Оформляйте как умершего». Конвоиры не хотели лишней докуки, что-то в своих бумагах почиркали, старосту позвали подписать и жида оставили. А он не помер. И звали его Вадим Моисеевич – для учеников, когда учительницу заменял. Для остальных – Жид. Человек без роду, без документов; вернее, по документам он умерший. Однако живет в подклете у старосты и так славно бумаги отчетные пишет! И такие ловкие указки дает, как зачет-в-перечет ту-на-эту подать-плюсовать. Никто, кроме Жида, не докумекал бы.

Из всех учеников, а их два десятка было, только Степану запали в сердце речи Вадима Моисеевича. Мир – большой! И народов в мире – тьма тьмуца, есть черные как уголь, неграми называются, в жарких странах, и косоглазые, как наши татары и казахи. И везде несправедливость – богатые эксплуатируют бедных, сосут кровь. Среди зажавшихся богатых сговор – держать свою власть, а бедные пусть гибнут от непосильного труда, хотя среди них тоже много для человечества важных гениев.

Со временем эта детская схема благодаря речам и книгам Вадима Моисеевича обрела для Степана идею и смысл жизни.

Вадим Моисеевич после революции постоянно находился у власти – был членом реввоенсовета Пятой армии, потом в Омском ревкоме, организовывал губсовнархоз. Год назад, когда ЧК переделали в ГПУ, он возглавил отдел политконтроля. Два дня назад Степан получил письмо от Вадима Моисеевича. Учитель в очередной раз звал к себе: приезжай, мол, не колупись в деревне, перед нами горизонты – вся Сибирь и революция в

планетарном масштабе, нам нужны люди твоего мировоззрения.

Степан не мог сорваться. Если в масштабах сельсовета – пяти деревень и двух сел – ему не удастся навести пролетарский порядок и революционную справедливость, как он осилит всю Сибирь и планету? Степан не относился к тем людям, что легко оставляют за спиной нерешенные проблемы и бодро шагают вперед. Грызло сомнение. С молоком матери, с опытом родителей он усвоил: не берись за то, чего не потянешь, а коль берешься, жилы рви до смерти, погибни в сражении. Какое «погибни», в каком «сражении», когда есть Парасенька, когда вчера только повенчались?..

И еще Степан не любил город – шум-гам, беготню, мельтешение, скорые непродуманные решения, которые потом оборачиваются бедами. Вроде тех, что принесла продразверстка. Степан как верный солдат партии и революции выполнял приказы, но ему никто не мог запретить потом эти приказы мысленно осуждать. Редкие встречи с Вадимом Моисеевичем, усталым, замученным работой и бессонницей, не разрешили сомнений Степана – учителю недосуг было вести теоретические беседы, ему требовались помощники без страха и упрека.

Уже несколько лет Степан практически в одиночку руководил вверенной территорией, потому что на секретарей партячейки им решительно не везло. Прислали из губернии «для укрепления ведущей роли партии» горлопана мастерового, который ни ухо, ни рыло в крестьянском труде, плуга от бороны отличить не может. Коммунисты на отчетно-выборном собрании дали ему отлуп – катись в свой Омск, там порядки устанавливай. Выбрали из своих, проверенного большевика, а он от ран, полученных при подавлении Восстания, сильно страдал, в последнее время с постели не поднимался – какой из него Степану помощник?

Много бед натворило Восстание, не скоро зарубцуются.

Декрет о земле в октябре семнадцатого года дал расейским крестьянам то, чего они хотели. И для крестьян революция закончилась, большего им не требовалось. Но за Уралом, где никогда не знали крепостного права и крайней бедности, а земли было навалом, декрет никакой роли не сыграл. Сибирским крестьянам нужна была крепкая власть, порядок в торговле, чтобы они могли продавать продукты своего труда. Как называется власть: царская, временного правительства, большевистская, колчаковская – по большому счету, значения не имело. Короткое правление большевиков, сметенное Колчаком, оставило хорошие воспоминания. И беженцам из

Расеи, с Поволжья, которые рассказывали о зверствах большевиков, сибиряки не поверили. Они вообще верили только тому, что сами видели.

Степан помнил, как мать осадил беженца, которому вынесли хлеба и каши. Беженец жадно ел на крыльце, и плакал, и рассказывал про бесчинства большевистских продкомиссаров, которые с вооруженными головорезами, чисто бандитами, забирали последний хлеб, уводили скот и даже птицу, обрекали крестьян на голод.

– Значит, заслужили, – презрительно сказала Анфиса Ивановна, нисколько не растроганная мужицкими слезами. – Большевики – это как большаки, вроде моего Степушки, – посмотрела она на сына ласково. – Разе он станет грабить честных людей?

Грабежом (не только продуктов, скота, но и носильной одежды для обмундирования армии), принудительной мобилизацией занимались карательные колчаковские отряды, вызывавшие, понятное дело, ненависть.

С другой стороны, понимал Степан, если бы правительство Колчака ликвидировало застой в торговле, ввело твердую валюту, без которой невозможен обмен товаров производителями, если бы не грабило, а расплачивалось, не устраивало погромы против самогоноварения, а учреждало новую власть на местах по справедливым законам, то победа Красной армии над колчаковцами легко не далась бы. Победили, потому что крестьяне поддержали.

В двадцатом неурожайном году в Расее разразился голод, в двадцать первом неурожай стал уже катастрофическим, а голод страшным: люди умирали десятками, сотнями тысяч. Но хлеб в стране был. За Уралом, в Сибири.

Степан читал подписанное Лениным постановление Совета народных комиссаров «Об изъятии хлебных излишков в Сибири», по которому крестьяне должны были сдать излишки прошлых лет и нового урожая. Через месяц вышло новое постановление Совнаркома по Сибири, в нем были цифры, запомнившиеся Степану астрономической громадностью: сдать сто шестнадцать миллионов пудов хлеба, шесть миллионов двести семьдесят тысяч пудов мяса, а также масло, яйца, картофель, овощи, кости, шерсть, рога, копыта... – всего тридцать семь разверсток. Это слово – «разверстка» – сделалось страшным для сибирских крестьян. Их, все трудовое население от восемнадцати до пятидесяти лет, обязывали исполнять различные повинности: рубить и вывозить лес, поставлять подводы и многое другое.

Исполнение решений партии возложили на Сибревком, губкомы и

сельсоветы, которые восприняли этот приказ как боевую задачу и сформировали продотряды. Один из них возглавлял Степан. Данилка Сорока, по слухам, в Томской области тоже руководил отрядом, зверствовал и, когда Восстание вспыхнуло, еле ноги унес.

В продотрядах были в основном городские парни, далекие от сельского труда, презиравшие крестьян за их мелкобуржуазность. Своих-то продотрядовцев Степан сдерживал, а в других уездах городские творили такое, чего и от колчаковских карателей не видели.

Это был тяжелый период и все-таки еще не слишком кровавый. Мужики озлобились, но не сломались, за оружие массово не схватились, воевать-то всем надоело.

Пролетарской сознательности у сибирских крестьян не было. Если в Поволжье голод, пусть правительство по справедливой цене хлеб покупает и кормит свой народ. В Сибири тоже неуроды бывают, но на то у справно́го хозяина и запас. Подтяни ремень, пироги не с мясом, а с грибами треска́й, жди следующего лета. Разверстка же, когда со двора уносят трудом-пото́м созданное, – грабеж и беззаконие.

– Всех нищих не перекормишь, а кто работы не боится, тот не голодает и не нищенствует! – кричала мать в лицо Степану. – Не говори мне про сознательность! Моя сознательность – свой дом и свое добро беречь, наживать. А вы хуже колчаковцев, выгребаете подчистую! Выжиги! Не дам! Работников с ружьями у ворот поставлю, только суньтесь!

– Ружья у нас тоже имеются, – цедил сквозь зубы Степан, чей авторитет родная мать на корню губила. – Чтоб к завтра все подготовила! А ертачиться будете – арестую!

Хлопнул дверью и ушел ночевать в правление.

За ночь мать умудрилась много добра в тайгу увезти, на заимках спрятала. Но и того, что осталось, немало было – все видели, сколько подвод Степан из своего дома выкатил. Если родных не пожалел, то чужим тем паче на его милость рассчитывать не придется.

Ходили слухи, что реквизированное добро, которое широкой рекой в Омск течет, там гниет. Степан точно знал, что это не наветы, а правда. Своими глазами видел жуткую бесхозяйственность: и гниющий хлеб, и погибающих от холода овец, стриженных для выполнения разверстки по шерсти, и горы сырых кож, изъеденных крысами. Он перегонял скот с бойни на бойню – кругом переполнение, грязь, смрад. Он привозил зерно, а охрипший начальник ссыпного склада сипел: «Не возьму! Куда хошь вези!» Степан приходил на отчеты в губком, и ему ставили на вид: «По твоему уезду продразверстка выполнена на тридцать процентов, бери пример с тех,

кто план на сто пять процентов выполнил». Где на «сто пять», где подчистую выгребли и начался голод, которого в Сибири отродясь не было, там в первую очередь и полыхнуло.

Последней каплей стало решение о семенной продразверстке – изъятию из хозяйств семенного материала, ссыпке в общественные амбары-хранилища, откуда весной будут выдавать согласно единому плану. Умные городские головы не понимали, что вольного зажиточного хлебопашца нельзя в одночасье превратить в раба, которому укажут, где пахать, дадут, что сеять, а потом весь урожай отберут, оставив на скудный прокорм. Хотя революция называлась рабоче-крестьянской, в Омском реввоенсовете было мало людей, знавших крестьянский труд, уважавших труженика. Степан подозревал, что их мало было и выше, в Петрограде. Умом он понимал мелкобуржуазную контрреволюционную психологию мужика-крестьянина, а сердцем не мог осуждать. По-другому надо с мужиками! Как? Он не знал.

Степан слышал про бунты в Центральной России, про волнения на Тамбовщине, но того, что случилось, когда запылала вся необъятная Сибирь, таких масштабов в России быть не могло.

Вспыхнуло в конце января двадцать первого года в разных местах, практически одновременно, точно к бочкам с порохом заряд поднесли. Степан в те дни в Омске находился – может, потому и жив остался. В кабинет Вадима Моисеевича, которому он стал помощником-порученцем, стекались страшные сведения: расстреливают, режут коммунистов, продотрядовцев в большинстве волостей Ишимского, Ялуторовского, Тобольского, Тюменского, Березовского, Сургутского уездов Тюменской губернии, Тарского, Тюкалинского, Петропавловского, Кокчетавского уездов Омской губернии, бунты в Челябинской, Екатеринбургской губерниях...

Это была война, потому что к вооруженным мужикам присоединились бывшие Сибирские казачьи войска, появились командиры, организовавшие отряды и командовавшие по всем правилам тактики и стратегии. Они захватывали деревни, села, города, железнодорожные станции.

Кого с кем война? Получалось, мужиков с новой властью, крестьян с большевиками. Но Степан тогда не задавался политическими вопросами. Когда идет война, не до «рассуждений». Он был в штабе, а от хорошей работы штаба во многом зависит исход любой войны.

Такого зверства Сибирь еще не знала. Мужики вспарывали коммунистам животы, засыпали зерном и оставляли записки: «Продразверстка выполнена». Топорами рубили жен и детей коммунистов.

Но и другая сторона развязала террор: артиллерийским огнем уничтожались целые деревни, в селах выгоняли людей из домов, расстреливали каждого пятого. Сибирь захлебнулась кровью.

Всего два года прошло, а кажется – сто лет назад был этот страшный, безумный сон.

Восстание подавили части Красной армии. Вадим Моисеевич в разговорах со Степаном признавал:

– Да, в нашей политике были перегибы. Революции без жертв не бывает.

Степан потом про перегибы как-то в споре с отцом упомянул. Отец скривился нехорошо:

– Перегибы – это когда гулящих баб раком ставят. А младенцев на штыки поднимать – бесовство.

Отец все волнения дома просидел, немощным прикидывался, «досточки» свои вырезал. Он-де в политике не участник. Ловко устроился.

К лету двадцать первого года, когда уже было ясно, что коммунисты победили, Вадим Моисеевич тяжело заболел. Доктор больничный сказал: «Общее истощение». Степан тоже себя чувствовал истощенным до крайности, рвался домой. Вадим Моисеевич не отпускал, потом слабо махнул рукой: делай как знаешь. Учитель любил Степана, и тот ему платил тем же. Но Степан задыхался в городе, голова пухла от мыслей, вопросов, на которые не было ответов; разъедало сознание своей беспомощности. И хотя даже в собственной семье он не находил поддержки, дома ему стало легче, привычнее и отчасти понятнее, во всяком случае текущие задачи казались выполнимыми.

Вспоминая недавнее прошлое, Степан постукивал карандашом по краю стола. Тук-тук, тук-тук – как часики.

Отец как-то привез большущие часы, заднюю крышку снял – там колесики с зазубринами. Принялся сыновьям объяснять, как устроен механизм. Братья ничего не поняли, а потом часы стырили и по винтикам раскурочили. Мать их выпорола, а отец, что Степану было еще горше и обиднее, посмотрел презрительно и бросил: «Варнаки!»

Степан никогда не понимал отца. В детстве любил, ждал, когда придет, гостинцы привезет и от маминой лютости защитит. Лет в четырнадцать любовь как-то сама собой прошла, растаяла, а истинного уважения не появилось. Почитал, конечно, как родителя. Но по-настоящему уважал Вадима Моисеевича, восхищался его преданностью идее, зажигался от него. От отца разве зажжешься?

Однако раз мечтался он. Ладно бы про Парасеньку думал, а то

кровавые дни вспоминает...

Степану нужно было написать письмо Вадиму Моисеевичу, объяснить свой отказ ехать в Омск. Устной речью он так-сяк владел, агитировать научился, а на бумаге изложить клубки своих мыслей – мука мученическая, поэтому и тянул время.

Степан тяжело вздохнул, почистил перышко о бумажку, макнул в чернильницу...

Поблагодарил за приглашение, написал, что пока приехать не может «в связи с семейными обстоятельствами, которые женитьба». Снова задумался. Следовало бы Вадиму Моисеевичу признаться, что его, Степановы, отчеты по наличию зерна, скота и прочих сельскохозяйственных продуктов на территории вверенного сельсовета нельзя считать объективными. Потому что прячут по заимкам – мать родная и та прячет. Но чтобы найти эти заимки, нужна рота солдат. А солдаты с оружием – это снова кровь и горе.

Не стал про заимки писать, наступил на свою коммунистическую совесть.

Другим сомнением поделился с Вадимом Моисеевичем. Он, Степан, понимает классовый подход, что надо на сельскую бедноту опираться. Только их голытьба доброго слова не стоит, не опорная. По его, Степана, разумению, для пользы революции требуется на свою сторону крепких хозяев привлечь, потому как они народа и страны пролетариата только и могут быть кормильцами. Но чем привлечь, как сагитировать? Не хватает у Степана аргументов, пусть Вадим Моисеевич подскажет. Потому что настоящий момент, когда уж сколько лет все сокращаются посевные площади и количество скота, нельзя признать удовлетворительным. Раньше Сибирь пол-Расеи кормила и за границу продавала, а теперь крестьяне только для самообеспечения станут трудиться. Выражения вроде «настоящий момент», «логика классовой борьбы», «мировая революция», «пролетариат как движущая сила» Степан вставлял где надо и где не надо, полагая, что из-за присутствия умных слов письмо становится значимее и солиднее.

За ним пришли – пора невесту выкупать, – когда запечатал письмо и отчет в конверт. Сделал дело, можно и на личном фронте отдохнуть, попраздновать.

Он вошел в дом, увидел стол с яствами и с трудом сдержался. В отчизне голод, а его мать пир закатила! Прасковьюшка, чутко уловив перемену в настроении мужа, жарко зашептала:

– Только раз ведь в жизни! И готово уже все. Нам и людям праздник. Не хмурься, Степушка!

Анфиса отлично увидела и то, как перекосило Степана, и то, что отмяк после Параськиного шептания. Экую власть набрала девка!

Застолье и по старым временам было бы не стыдное, а по нынешним – роскошное.

Но Анфиса, встречая почетных гостей, смиренно кланялась, извинялась:

– Уж чем богаты, не обессудьте! Просим не прогневаться на убогом нашем угощении.

Гости кланялись в ответ, стараясь не показать удивления, сохраняли на лицах приличествующее достоинство. Они безо всяких подсказок поняли, что Анфису Турку выражения восхищения и поздравления с тем, что может позволить себе накрыть столь богатый стол, нисколько не порадовали бы, не польстили. Напротив, смешали бы карты в игре, которую она своим первым ходом, первой репликой: «Уж чем богаты...» – повела в том русле, что свадьба будет по старинным правилам.

И свадьба удалась: старики чинные наставления-тосты молодым сказали, и про родителей не забыли, наелись-напились все до отвала, и пошли шутки с соленым подтекстом, которого детвора, на печи набившаяся, не понимала, но за компанию гоготала. Молодежь на улицу выскакивала, на деревянном настиле чистого двора, расчищенном от снега, танцевали. Только и гремели, выбивали дробь каблуки мужицких яловых сапог да цокали подковки девичьих праздничных сапожек. Сашка Певец с его гармонью к месту пришелся. Правильно Анфиса его пригласила, хотя поначалу сомневалась – не испортил бы бражник торжества.

Данила Сорока, понятно, не приглашенный, стоял на противоположной стороне улицы, смотрел на празднично яркие окна дома Степана Медведева и курил одну самокрутку за другой. Гуляют! Сашка – предатель, контра, гармонь рвет, все танцуют-веселятся, каблуки стучат пулеметно. Чтоб вы плахи сломали и провалились! Увел у него Степан Прасковью, из-под носа выкрал.

Не было в ней ни лица, ни фигуры, да и не втрескался он в Параську до беспамятства. Она напоминала пичужку. Данилка в детстве любил разорять гнезда, душить птенцов, зажав их горло в кольцо большого и указательного пальцев. Пичужки разевали клювики в беззвучном крике, а потом подыхали, и глаза их стекленели. Так и Параську хотелось зажать и придушить – пережить то детское удовольствие, многократно усиленное.

Но Параська-пичужка оказалась строптивой и увертистой. В сторону уйти гордость не позволяла: все знают, что он под Солдаткину клинья забивал. И вдруг однажды поймал себя на мысли: «Если бы такая бредовая идея появилась – жениться, – то только на Парасе Солдаткиной». Даже предложение ей, дурак, сделал. И промазал. Эх, надо было ее скрутить, умыкнуть да оприходовать, никуда б потом не делась, на коленях ползала бы: «Женись на мне, Данилушка!» Не успел, захворал не ко времени.

Он бросил на землю окурок, растоптал. От крепчайшего самосада замутило. Но дурнота в голове была не слабее тошноты на сердце.

– Думаете, уели меня? – спросил Данила светящиеся окна Степанова дома. – Ышшо посмотрим! Вы меня плохо знаете!

Он пошел прочь, прикидывая, у кого украсть лошадь и сани. У дядьки Савелия хороший выезд.

Савелий с семейством был на свадьбе, двор охранял работник. Данила избил его в кровь, без надобности бил и бил, калечил. Остановился, когда работник и сипеть перестал.

Данила запряг лошадь и покатыл в сторону Омска. Настроение его улучшилось. Изувечив человека, годящегося ему в отцы, Данилка никакого раскаяния не испытывал. Он не умел сожалеть, он любил драться, точнее – избивать, хмелел больше, чем от вина, когда под его кулаками плющилась, брызгала кровью человеческая плоть, трещали кости.

Самым любимым ощущением была у Данилки жажда мести. Если появлялся обидчик и расцветала в душе мечта-месть, он упивался предвкушением кары. И сейчас мысли о мести Степану разогнали тошноту сердечную. Что Параська? Таких, как она, десяток на пятак в базарный день. А Степка – один! И просто прикончить его, подстрелить из-за угла или ножом пырнуть – удовольствия мало. Подохнет, и весь сказ. Нет, Данилушка ему так отомстит, чтоб как в Библии. Священных книг он не читал, в Бога не верил, но слышал, что за какие-то грехи имеются наказания до десятого колена. Так и он Степану отомстит, чтоб весь его род проклят был.

Свадьба, которую Анфиса закатала большаку Степану, была как нырок в прошлое, в сытое хлебосольное время, когда по трудам достаток был и праздники широко отмечались. Некоторые из гостей, хмельные конечно, даже слезу утирали, вспомнив былое. Разошлись поздно, после чая, которого было выпито чуть ли не под дюжину самоваров.

На Анфису, когда последних гостей проводили, навалилась пудовая усталость.

- Марфа! – махнула она в сторону стола.
- Я приберу.
- И проверь, что на холод вынесли, чтоб хорошо прикрыто было.
- Сделаю.

Дойдя до кровати, Анфиса рухнула, не раздеваясь. Тяжелые бусы запрокинулись ей на лицо, но она ничего не почувствовала.

Марфа наводила порядок и поглядывала на дверь горенки, в которую ушли Степан и Прасковья, прислушивалась. Хотела и боялась что-нибудь услышать. Плакала тихо сначала, а потом слезы заклокотали в горле. Села на пол под иконами в красном углу, коленки к груди прижала, чтобы стон не вырвался. Так и уснула.

Утром ее свекровь растолкала:

– Чего ты тут валяешься, как пьяная солдатка? Прибери себя – и за работу!

Сама Анфиса проснулась несколько минут назад с головой, опутанной бусами, в задранной мятой праздничной одежде. Но невестке этого знать не полагалось.

Вскоре за Степаном прибежали от Савелия Александровича. Вечор, вернувшись со свадьбы, они безобразия не заметили, работника не окликнули, думали спит. А на первую дойку хозяйка отправилась и обомлела, потом криком зашла – мертв работник, лицо избито, на губах красная пена замерзла. Лошадь пропала и сани.

Степан сразу подумал на Данилку Сороку, но своего предположения вслух не высказал. Злодейство мог учинить и пришлый варнак. Только как бы он до деревни добрался? Если на лошади, то бросил бы ее, раз свежую своровал. Если такой сильный, что пешим добрел, то отогревался бы и еды украл, а из продуктов ничего ни у кого не пропало, как показал обыск в деревне. А Сорока сгинул! По зимнику, по Иртышу, который встал крепким льдом, направили погони, но они вернулись ни с чем. Шел густой снег, заметал следы.

Пельмени и сказки

Еремей был уверен, что жена молодую невестку станет есть поедом, гонять в хвост и в гриву. Как же, появилась краля, которая над ненаглядным Степушкой заимела власть больше материнской! Да только, усмехался он мысленно, дневная птица ночную никогда не перепоеет. Однако Анфиса вела себя сдержанно. Лодырничать Прасковье не позволяла, но и не гнобила как дешевую рабыню. Наверное, присматривалась, с какого бока больней укусить.

Хотя Парася была пуглива, постоянно стремилась угодить, вскакивала еще до проговоренного веления свекрови или свекра, ручки в кулаки сжимала и смотрела вопросительно, жалости она у Еремы не вызывала. Странная девка. С виду робкий заморыщ, а нет к ней сочувственного умиления. Иное дело Марфа – вот уж кому лихая доля досталась. Всем Марфа вышла – и статью, и силой. Она на жатве, на обмолоте, на сенокосе, в доме за прялкой или за тканьем – везде за двоих. Пашет и пашет как лошадь, про усталость не знает. Только разве пахать да пахать – радостная женская доля? Муж, сынок Петр, ни рыба ни мясо, живет как приспатый, гы-гы да гы-гы. Царь Соломон сказывал: «Премудрый сын веселит отца, безумный сын – печаль матери». Не только матери: иметь такого мужа, как Петька, – горстями печали хлебать. Даже ребеночка ей не заделал. Ерема несколько раз подмечал, как плачет Марфа, давится слезами. А однажды случилось, кажись, когда Степан про женитьбу объявил, в голос разрыдалась.

Анфиса тоже видела слезы невестки, но они ее только злили – мало работает, коль на слезы время есть.

Степан часто отсутствовал – ездил по деревням, которые к его сельсовету относились, и в Омск в командировки. Незнакомое слово бабы расшифровали: «командировки» – от «командир», и к его поездкам относились с почтением, наряжали в лучшее. Степа – командир, кто ж еще.

Когда он один и другой раз вернулся без гостинцев, отец его в сторону отозвал и упрекнул:

– Хоть по леденцу бабам привез бы!

С тех пор Степа не забывал про домашних. Привозил, что успевал найти, маме, жене, Марфе, брату, сестре Нюране – особо. Она скакала по избе, вокруг стола козой носилась, радовалась всякой мелочи. Остальные

тоже плавились довольством. Оказывается – ждали! Степан думал: гостинца или подарка вещественного. Ерема понимал: внимания! Отцу Степан ничего не привозил, не помнил про него, да Ерема и не ждал.

У Марфы в сундуке под окном хранилась шкатулка со Степиными подарками: рулончик алой ленты, монисто с медными, позеленевшими кругляшками и монетками, сухой пряник. Каждый из этих предметов для Марфы был воспоминанием: как приехал Степан, как раздавал подарки. До нее очередь доходила, говорил: «Вот тебе, Марфонька...», «А Марфе нашей дорогой...», «Марфутке-сестренке...». Других ласковых слов от него она не слышала. Особенно любила статутку, или статуэтку... как-то свекор назвал, не запомнила. Словом, фигурка фарфоровая. С первого взгляда – срамота. Девка в юбке выше колен, одна нога задрана, другая стоит на земле, обута вроде в лапоть, потому что по голени ленты плетутся, но лапоть – как туфелька изяшная. Нос у статутки отбит, у ноги, что задрана, лапоть-туфельку отсекла вражья рука. И все-таки Марфа ее очень любила. Когда сильно горло тоска схватывала, чаще по ночам бывало, вставала тихо, доставала из сундука статутку, садилась под окно. В лунном свете красок не видно: ни нежного румянца на щеках барышни, ни крошечных алых губ, ни синих глаз-пуговиц, ни палевых складочек в юбочке. Однако все равно утешение: не только Марфу судьба казнила, а и эту прыгунью. Марфа гладила фигурку, Петр храпел, луна била в окно, точно с солнцем хотела состязаться. И становилось легче. Марфа клала на место статутку, закрывала сундук, ложилась на кровать к мужу. Была бы воля – удавила его, постылого! Но воли не было, только долг – перед Богом, семьей и людьми.

Анфиса специально подгадала, чтобы Степа был дома и со всеми наравне уселся за стол пельмени лепить.

В каждой семье это действие любили. Но ведь у Анфисы должно быть не как у всех, а по-особенному, чтобы потом соседки пересказывали. Сама она кратким словом обмолвится, работники, невестки донесут да и свойственники, по милости приглашенные. Лепить пельмени Анфиса пригласила сватью, мать Прасковьи Наталью, и тетку-крестную Агафью. Первая была сказочница и сказительница, вторая – тараторка и хохотунья, к месту и не к месту заливалась, хотя не без хитрого стреляющего взгляда. Но у Анфисы стреляй-перестреляй, недостатка не найдешь. Натальи и Агафьи детишек младших тоже позвали, потому что одной девчонки Нюрани за столом маловато, род со скудным потомством.

С утра Анфиса невесток изводила. Марфа тесто творила. В Сибири к хлебу относились с великим почтением и про тесто говорили не «месить»,

а «творить». Прасковья в сельнице – деревянном корытце – сечкой мясо рубила. Обычно фарш готовили из трех видов мяса – жирной свинины, говядины и баранины. Шиком считалось для вкуса медвежатину подмешать. Но Анфиса брезговала – медведь хоть и по их фамилии зверь, а животное грязное: не поднимется нужду справить, под себя сделает, полгода мясо вымачивай, запаха не отбить. У Анфисы был свой кулинарный секрет – добавлять в фарш куриное мясо, от которого он становился нежным и мягким. Когда птицу били осенью, в отдельную кадку грудки цыплячьи засаливала. Поэтому в фарш уж больше соли добавлять не нужно, а Параська сыпанула!

Анфиса пальцем рубленое мясо зацепила, попробовала да кулаком невестке в лоб ударила:

– Тебе кто позволял солить? Ты здесь волю взяла, сопля бледная?

Испуганная Прасковья отлетела в угол, рот разевала, как цыпленок перед смертью. Тьфу, прости господи! Чего Степан нашел в этой доходяге?

Анфиса отщипнула кусочек теста, вымешанного Марфой, взяла в рот, пожевала. Хорошее было тесто, мягкое и клейкое, в меру тугое. Но ведь невестки всегда должны быть виноватыми. Анфиса и Марфе заехала по щеке:

– Сколько лет тебя учишь, а дура дурой остаешься! Еще два жбана намети. И полотенцем мокрым накрой, чтоб не высыхало. Пошевеливайтесь, ленивые девки! Теста и начинки нету, а вам еще стол накрывать. Послал мне Бог невестушек! За все мои доблести наградил супостатками!

Когда Анфиса нервничала, она всегда ругалась. Удадутся ли пельмени? Ведь их заготовить надо мешка два...

Фарш, начинку пельменей, Анфиса приправляла всегда сама. Ерема про свои выкрутасы с деревянной резьбой говорил: чего-то там... тра-та-та... акцент. Анфиса для себя «акцент» двояко определяла: это когда все работают, а потом приходит она, Анфиса, и оценивает. Бывает – не придерешься. Но все равно хозяйка должна акцент внести, пальцем ткнуть и на недостатки указать. Иначе уважения работников к хозяйке не будет, да и в собственных глазах себя уронит.

Акцент во время стряпни – это приправы, главным образом перцы из старых запасов: черный острый, белый душистый, красный и розовый пряные.

На священнодействие Анфисы, которая высыпала из баночек и жестяночек с плотными крышками в ступку горошины, толкла пестиком, рассыпала по фаршу, перемешивала, пробовала, снова толкла, подсыпала,

перемешивала, пробовала – и так несколько раз, – невестки взирали как на таинство. Захочет свекровь – поделится этим таинством, научит. Не захочет – будешь не стряпкой, а тряпкой. Марфа и Прасковья стояли, вытянувшись в струнку, как солдаты перед ефрейтором.

– Пробуйте, – сказала им Анфиса.

Невестки послушно проглотили по маленькому кусочку.

– Вкус запомнили? Теперь каждая берите по миске неготового фарша, перец толките и месите. Пряного много нельзя, только на кончике ножа, иначе саднить-вонять будет, как от заезжего корабейника, который две недели не мылся, а дикалонами брызгался.

Через несколько минут Прасковью мутило от съеденного сырого мяса, которое она терпеть не могла. И хотелось плакать, потому что ее фарш, в отличие от Марфуткиного, был совершеннейшей гадостью.

Анфиса Ивановна, отпробовав, так и сказала:

– Дрянь!

А потом спросила, точно учитель на уроке, когда хочет плохого ученика подстегнуть примером успевающего:

– Марфа, чего не так?

– Ты, Прасковьюшка, посолить забыла.

– Вот именно! – кивнула Анфиса Ивановна. – Сегодня она посолить забыла, а завтра соды в щи бухнет.

– Я не... не бухну...

– Плакать не смей! – повысила голос Анфиса Ивановна. – Замечу слезы, будешь неделю свинарник чистить и там себя жалеть!

– Хорошо, – пробормотала Парася.

– Чего «хорошо»? – уточнила свекровь.

– Пойду чистить.

– Дура! Надо сказать: «Простите, боле моих слез не увидите». Нашел Степан супругу для навозного труда!

– Простите, – кусала губы Парася, – боле моих слез вы не увидите никогда.

– Про «никогда» я запомню, – пообещала Анфиса Ивановна.

В отличие от мужа, Анфиса красоты мира не чувствовала и не понимала. Для нее красивым был тот предмет или изделие, владельцу которого завидовали. Но Анфиса чувствовала людей, знала, на что каждый годен, как добиться от него крайнего старания и где граница, за которой никакие старания не помогут. Сделав выволочку Прасковье, она отметила, что невестка испугалась не грязной, постыдной работы, а расстроилась из-

за собственной неумелости. Это был хороший знак. Не такая Парасья рохля, как с первого взгляда кажется. Рохля скорее Марфа. Сильна, как мужик, а душою – кисель. Марфе, конечно, с супругом не пофартило, но так уж Бог рассудил.

Лепить пельмени за стол сели десять взрослых и пятеро подростков. Анфиса распределила их на три группы. В каждой было по два человека на раскатке: отрезали от большого шара пресного теста кусок, ладонями раскатывали его в колбаску, потом от нее отрезали коротенькие чурбачки, которые скалкой превращали в кружочки. Трое вилками зачерпывали из миски фарш, клали на середину кружочка и плотно склеивали края, в конце их завернув, соединив так, чтобы получилась аппетитная приплюсінка. Готовые пельмени плотно в один слой укладывали на посыпанные мукой доски и выносили на улицу. Когда пельмени замерзнут до каменности, их высыпят в ларь.

В начале работы Анфиса надсмотрщиком ходила вокруг стола, поправляла, указывала, заставляла переделывать. Кружки должны быть определенной толщины и все одинакового размера, мяса нельзя ни много положить – края не залепятся, ни мало – только голытьба тестом обжирается. Добившись нужного качества, Анфиса села за стол между мужем и дочерью. Это было стратегически важное место. Нюраня обязательно примется тихонько отца просить: «Тятя, слепи мне кысу, вырежи собачку!» И Ерема будет потакать дочери, отвлекаться на баловство.

Нюра поняла уловку матери. Но через некоторое время все-таки не выдержала и стала ее пытаться:

– Матушка, а можно пельмени делать как шарики? А как грибочки или грушки, что тятя привозил?

– Нельзя, – отрезала Анфиса. – Пельмень есть пельмень, а не шарик-грибочек.

Нюраня что-то быстро-быстро лепила из теста. У нее получился симпатичный зайчонок, в животе которого находился кусочек фарша.

– Славно, – похвалил дочку Ерема.

– С едой играть – грех! – Анфиса хотела отвесить оплеуху Нюране, но та увернулась.

– Мы же печем на Благовещение жаворонков! – напомнила дочка.

– А чего у тебя ушан такой пузатый? – спросил Парасин братишка Ваня.

– Оно зайчиха на сносях, – ответил за девочку Аким, вызвав общий

смех.

– Смотри, сестренка, – усмехнулся Степан, – народ наш памятный и на язык острый. Как подрастешь, будут судачить: «Кто эта красивая девушка? Дык та самая Нюра Медведева, у которой пельмени что беременные зайцы!»

Лепка пельменей – веселое дело. Когда приноровились, руки быстро заработали, пошли шутки, прибаутки, постоянно вспыхивал смех. Иногда такой громкий, что белыми, обсыпанными мукой пальцами вытирали слезы. А потом снова смеялись над тем, кто разукрасился. Если кто-то чихал, ему полунасмешливо желали: «Салфет вашей милости!» Включившись в игру, чихавший отвечал: «Красота вашей милости!» Большинство шуток были старыми, год из года повторяющимися, но над ними смеялись, будто впервые слышали. Особым успехом пользовались былички про переселенцев. Например, как одна женщина послала хохлам-переселенцам пельменей в подарок. Дурни-хохлы принялись грызть пельмени и плевать: «Гадкие у сибиряков конфеты!»

Периодически мужики выходили покурить. Тогда и детишки вскакивали, носились вокруг стола и по дому. Женщины разминали затекшие спины, только когда выносили на улицу доски или приносили из кути новые порции теста и фарша. Долгих перерывов Анфиса не допускала. Известно, что мужики на такой нудной работе, как ни весели их, долго не продержатся. Первые признаки того, что надоело, пресекались в зародыше – мужиков лупили по лбам ложками и поварешками, приговаривая: «Не хлюздить!» – что означало «не фальшивить, не халтурить». Мужики высидели почти три часа, потом перестали игриво уворачиваться от ударов, вяло огрызались, все дольше задерживались на перекурах – скисли.

Анфиса скомандовала:

– Обед!

Хотя считалось, что самые вкусные пельмени – хорошенько вымороженные, Анфиса была с этим внутренне не согласна: «Так говорится, потому что в основном пельмени и едят мороженые». На ее же аппетит лучше свежих, с нежным тестом и мягким фаршем, сваренных в кипятке с луком и лаврушкой, не бывает.

Анфиса проследила, чтобы варились пельмени правильно – в большом количестве воды, не слипались. Марфу учить не требовалось, а Прасковью Анфиса к этой важной работе не допустила, велела на стол накрывать и подносить, чтобы каждого до отвала накормить и каждому угодить: один с юшкой пельмени любит, другой со сметаной, третий с маслом,

большинство – с уксусом. Первыми накормили мужиков. Выпив самогона, они перебрасывались шутками: мол, кто-то из них камушек в пельмень положил, теперь «удачник» зуба недосчитается. Эта шутка тоже была традиционной, вздумай один из них настоящую проказу сотворить, Анфиса Ивановна ему сама зубы пересчитала бы.

Потом за стол сели женщины и дети, а мужиков из дома ветром сдуло. После обеда женщины трудились, пока не кончились тесто и фарш. Ванятку и других мальчишек отпустили на улицу играть, а девочки – Нюраня и Катя – остались без принуждения, потому что сейчас начнутся интересные женские разговоры про всякие болезни, приметы и случаи из жизни.

Нюраня полюбила Парасину маму Наталью Егоровну, часто бывала в ее доме. Тетя Наталья, Туся, как ее звали родные и подруги, была ласковой, смешливой, совсем не такой, как мама. И по голове погладит, и похвалит за каждую мелочь, и козу сделает, защекочет, как маленькую. Конечно, за одну мамину ласку Нюраня отдала бы сотни ласок чужой тети, только ведь от мамы не дождешься. Главное же, Туся знала много сказок, и былин, и стихов. Песни пела протяжные, со многими словами непонятными, длинные – по пятьдесят куплетов, и такие жалостливые, что слезы наворачивались.

Сказки слушать к Тусе набивался полный дом: мужики на лавках сидели и на полу, женщины пряли. Нюраня и раньше слышала Тусины сказки, потому что Парасину маму часто просили рассказывать в минуты отдыха: на посадке картофеля, на сенокосе, на уборке урожая. Посадят Тусю в серединку, сами примостятся вокруг и слушают. Бывало, что не успевала Туся закончить историю, так на обратном пути в бричке договаривала. Дети и подростки, Нюра в том числе, рядом с бричкой плелись, слушали. А как сказке конец, бежали к родителям в повозку.

Нюране нравились сказки про богатырей. Причем не подвиги героев девочку привлекали, а описание их внешности. В детстве богатыри «росли не по дням, а по часам, как пшеничное тесто на опаре», в юности были настолько хороши собой, что «на эдакого красавца все бы зрел да смотрел, очей не сносил». И каждое действие богатыря имело фантастическое обрамление. Вот, например, он на коня садится. «Кладет на него потники, на потники – коврики, на коврики – ковры сорочински, подтягивает двенадцать подпруг шелковых. Вставал вальяшно, садился в седельце черкацко, брал с собой меч-кладенец, копьё борзумецко, бил коня по крутым бедрам. Конь рэссергается, выше лесу подымается, выше лесу

стоячего, ниже облака ходячего...»

Когда Тусю просили объяснить непонятные слова, вроде «борзумецко», она говорила:

– А почему я знаю? Как мама с бабушкой рассказывали, так я и запомнила.

Из всех страшных сказок Нюраню более всего завораживали сказки про вшей. Самых вшей она никогда не видела, хотя про них много присказок и поговорок, и еще знала, что вши похожи на блох у собак. В сказке обязательно была молодая вдова или девушка, потерявшая любимого и очень горевавшая. И еще страшный змей, который принимал лик умершего и летал по ночам к женщине. Люди начинают замечать, что женщина сохнет, желтеет, чахнет, а то и видят змея, как он из ее избы вылетает уже в подлинном страшном виде. И тогда женщина или сама догадывается, или хороший совет получает, как от напасти избавиться. Она садится на порог, распускает волосы и начинает их расчесывать над конопляными семенами, насыпанными в подол или в фартук, щелкает ими. Змей прилетает и спрашивает: «Что ты делаешь?» «Вшей ем», – отвечает. Тогда змей плюет от досады и улетает. А в другой сказке он не сразу сдается, а дальше спрашивает: «Разве можно вшей есть?» или: «Разве можно крещеной кости вшей есть?» А женщина ему отвечает: «А разве может мертвый к живой ходить?» или: «Разве можно некрещеной кости к крещеной ходить?» Бывает, что змей ударяется оземь, принимает свой настоящий облик, но всегда улетает. Сказки тети Натальи всегда кончались хорошо.

Женщины за столом тоже заговорили о вшах, только не о сказочных. Агафья Егоровна рассказала случай, как у одной бабы в родах послед не отходил, а женщина из переселенок посоветовала в кусочек хлеба трех живых вшей закатать и роженице дать.

– Этого добра, – хмыкнула Анфиса Ивановна, – у переселенцев в достатке.

– Так ведь разрешилась баба! – слегка обиделась Агафья Егоровна. – И еще говорят, что вшами от жевтачки лечат. У одного старика жевтачка была, по-врачебному «желтуха» называется. Так доктор сказал, когда к нему старика привезли, а лечить отказался, мол, везите домой помирать. Его баба слезами умывается, а тут добрая женщина подсказала: «Возьми, миленькая, яичко, разбей, вошь туда пусти и дай старику выпить».

– Переселенка небось подсказала? – спросила Анфиса Ивановна.

– Не буду врать, не знаю, – ответила Агафья Егоровна. – Только ведь ради мужа-кормильца на любую крайность пойдешь. И мужик-то

поправился!

Наталья Егоровна поддержала сестру на свой лад:

– Когда мокроты небесной много, нельзя мелких насекомых убивать, еще пуще дожди пойдут.

– Ну, хватит про грязь всякую молоть! – осадила их Анфиса Ивановна. – Еду готовим!

Хотя размышляла Анфиса как раз о вшах. Сначала подумала, что кормить людей насекомыми придумал какой-нибудь злой затейник. Никакой пользы от грязных вшей быть не может. Но что-то смущало, брезжило на краю, не отпускало. И Анфиса рассуждала дальше: что с родильницей произойдет, когда ее вшей есть заставят? Фу, гадость! Ага, кажется, становится понятным. От брезгливости и отвращения роженицу затошнит, замутит. Все ее внутренности винтом скрутит, живот сведет, и послед выскочит. Надо взять на вооружение, ведь есть рвотные травы, не обязательно женщинам мерзость в рот пихать. Своим открытием Анфиса и не подумала поделиться с остальными.

Наталью Егоровну попросили рассказать сказку. Чтобы потрафить Анфисе, которая признавала лишь одну достойную национальность – сибиряки, Туся принялась рассказывать про хохла, который быка в учение отдавал. Этот хохол приехал на рынок, чтобы продать быка, а там к нему подошли парни и говорят: зачем тебе продавать, отдай его в учение на пристава, когда выучится, будет тебе каждый месяц по шестьдесят рублей денег платить. Хохол и согласился, а как приехал через некоторое время, те парни-жулики ему сообщают: теперь твой бык лысый, сидит в присутствии на должности исправника, иди к нему, проси свои деньги. Хохол и пошел, там правда лысый за столом сидит и никаких претензий не принимает. Тогда хохол давай ему кнутом грозить: забыл, как я об тебя ярмо сломал? Хохла набежавшие жандармы бросили в кутузку, но потом выпустили: что с дурака взять?

Анфиса да и все присутствующие восприняли эту историю не как сказку или анекдот, а как пересказ реального события – столь велико было их пренебрежение к переселенцам. Его не растворяло и то, что от украинцев и выходцев из других областей Южной России сибиряки переняли много полезного: более удобные орудия труда, приемы огородничества, ткачества, орнаменты вышивок, крой платья, рецепты блюд, даже песни и частушки.

Петр

Через месяц после Нового года выяснилось, что обе невестки тяжелые. Прасковья – понятно, молодая здоровая жена, которая понесла сразу после свадьбы. «Но Марфа? – удивлялась Анфиса Ивановна. – Неужто у Петьки само наладилось?»

Средний сын Петр не был худоумным, то есть глупым. Он числа в уме складывал быстрее матери, память имел хорошую, лучше Степана в школе учился. Но и умным Петьку тоже не назовешь. Было в нем что-то детское, нелепое, все гы-гы да гы-гы после каждого слова. От этого досужливого гыгыканья Анфиса решила сына отучить розгами, когда Петьке было лет десять. Порола хворостиной, которую с собой носила: гыгыкнет – она его по спине хворостиной. Петька стал пуглив как заяц и ночью мочился в кровать. Анфиса махнула рукой – не действует наука.

Петр был так же высок и широкоплеч, как старший Степан. Но Степа ладно сложен, а у Петьки ноги очень длинные, тулово же короткое, словно кто-то ему на плечи надавил и к земле прибил. У Степана лицо широкое, скуластое, глаза большие, близко к носу посаженные. У Петьки голова яйцом, глаза навывкате, разбежались в стороны, точно хотели за уши спрятаться. Когда они рядом стояли, сходство все-таки проглядывалось, но Петька был как плохо сделанный Степан.

Трудиться Петька не шибко любил, но и не отлынивал: что мать скажет, выполнит от сих до сих, без удовольствия, без инициативы, без хозяйской сметки. Не было у него своей воли, только под чужой жил, по приказу. И нисколько его не расстраивало, что он такой нюхлый. Лыбится к месту и не к месту, гы-гы.

Женила Анфиса Петьку десять лет назад, когда ему только восемнадцать стукнуло. Рано, конечно, зато на какой справной девке! Месяц, второй, третий, пятый после свадьбы проходит – не беременеет Марфа. Плохой знак. Обычно в бесплодии винили женщин. Анфиса тоже про невестку говорила: «Лицом бела, да нутром гнила». На самом деле подозревала Петьку. И не напрасно.

Ходила подслушивать к их спальне, ухо к двери прикладывала. Возьмется, Петька пыхтит, все как положено. Потом вдруг Анфиса слышит голос сына: «Еще чеши! Сильнее чеши!» Чего это она ему чешет? Спину, что ли? Или пятки? Точно дитяти? Потом снова Петькин голос: «Пососать дай!» И раздаётся чмокание – как теленок под коровьим выменем кормится.

Да что ж у них там происходит? Петька зарычал утробно, и молодые затихли. На следующую ночь Анфиса снова подслушивала, и опять повторилась странная спектакля.

Не нравилось все это Анфисе, поэтому затеяла она откровенный разговор с Марфой. Отозвала в сторонку и стала допытываться. Сначала намеками, но Марфа-дура, как будто свекрови приятно такие допросы вести, только краснела и мыкала. Тогда Анфиса прямо спросила, как Петька ей вставляет. Оказалось, вовсе не вставляет! Силы небесные, у нее невестка нераспечатанная!

А с другой стороны, могла бы Анфиса терпеть год-два мужа, который «почеши» и «дай пососать»? Анфиса бы его, даже Ерему, поганой метлой до околицы гнала бы. Марфа терпит. Такая святая?

В святость современниц Анфиса не верила. Святые девы в других, израильских обстоятельствах обитали. А у сибирских баб страсти-желания неосуществленные – что пыж, забитый в дуло ружья. Задел курок, порох вспыхнул, пыж погнал вперед с громадной скоростью дробь – кого не убьет наповал, того покалечит.

Анфиса не любила вспоминать про визит к доктору. Доктор был пьян и обозвал ее Антуанеттой.

Специально повезла Петьку в земскую больницу, подальше от глаз односельчан. Дождались очереди, вошли в кабинет. Доктор не то чтобы вусмерть пьян был, но изрядно.

– На что жалуетесь? – спросил и громко икнул.

– Вот сын мой, полгода женат, детей нет.

– Полгода не срок, и-ик! Раздевайтесь!

– Чего? – оторопела Анфиса.

– Я не вам, мамаша! Прикажете по прекрасным глазам вашего сына мне его половое бессилие определять? Вы, мамаша, за дверью подождите. Снимай порты, герой, и показывай свое хозяйство.

Анфиса вышла, села на лавку, и почти сразу раздался столь дикий крик боли Петра, что она чуть не свалилась, а некоторые люди из очереди испуганно вскочили. Петр вылетел из кабинета, на ходу натягивая штаны, и рванул к выходу.

– Мамаша, зайдите! – послышалось из кабинета.

Анфиса вошла. Доктор промокал усы платком – только что выпил, не таясь, стопка рядом стояла. Он выдвинул ящик стола, убрал стопку и обратился к Анфисе:

– У вашего сына, научно говоря, фимоз – узость отверстия крайней плоти или ее приращение.

У Анфисы еще стоял в ушах страшный крик сына, и она ничего не понимала из слов доктора.

– Чьей плоти? – спросила Анфиса.

– Не моей и не вашей, – хохотнул доктор и снова громко икнул. – Вы знаете, как устроен мужской член, по-вашему выражаясь, елда, уд, или как там вы еще величаете сей орган любви, а также, ик, мочеиспускания?

Анфиса вспыхнула, пошла пятнами.

– Спрашиваю, – продолжал доктор, – потому что бабы наши, нарожав десяток детей, в глаза не видели, каким аппаратом этих детей им заделали. Вот и вы, мадам, смутились. Между тем в этом нет ничего срамного. Какая, по сути, разница: нос или уд? Функционально, то есть с точки зрения физиологии, конечно, разница колоссальная, но и то и другое не более чем орден... то есть орган... Хотя у некоторых такой орган, что никакого ордена не надо. Увы, это не про вашего сына.

Доктор взял листок бумаги, нарисовал на нем непонятные загогулины.

– Вот как устроен нос... При чем здесь нос? – спросил он сам себя, тупо уставившись на рисунок. – Нос не ваш случай. – Доктор перечеркнул загогулины и нарисовал колбаску. – Это мужской член.

– Какого мужика? – спросила Анфиса, мгновенно поняв, что вопрос ее глупый.

– Вы на меня произвели впечатление разумной женщины, – скривился доктор. – Как же я устал от вашего невежества. Любого мужика! – повысил он голос. – Смотри сюда! Тут на конце головка. Если ты, баба, меня спросишь, чья головка, я тебя выгоню!

Будь доктор трезв и строг, Анфиса заробела бы, но доктор был хмелен. А пьяные все одинаковые – что генерал, что мужик. Генералов Анфиса не видала, а на пьяных мужиков насмотрелась и выводы давно сделала.

– Не шибко разорайся! – стала понемногу приходить в себя Анфиса. – На народные деньги содержишься! Лечить поставлен, так лечи!

– По сути, вы, мадам, правы! Простите великодушно! – От гнева доктор легко вернулся к благости. Он пьянел все больше и больше, а людей-то в коридоре еще десятка два. – Итак, головка. – Доктор пририсовал к колбаске шляпку от гриба. – Она закрывается кожицей, которая именуется по-научному крайней плотью. В норме, то есть у всех мужиков, кожица сдвигается, легко обнажая головку, и происходит великий акт... И-ик! – дернулась голова у доктора, он потерял мысль, перескочил на другое. – Мария-Антуанетта, жена Людовика Шестнадцатого... Юная, милая, прекрасная, вздорная, избалованная, но все равно прекрасная, окруженная интриганами... детей нет, династия в опасности, у Людовика

фимоз... Император Иосиф специально приезжает в Париж, чтобы уговорить короля сделать операцию...

Доктор говорил мечтательно, словно вспоминал свою молодость, проведенную в других краях и странах. Анфиса кашлянула, напоминая о себе.

– Операция, только операция, – вернулся к ней доктор. – Несложная, хотя и болезненная в его возрасте. Вроде обрезания, как у жидов и татар. Все, иди, Антуанетта, зови следующего.

Петр ждал ее у саней, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Заканючил, как малый ребенок:

– Мама, мама, он меня как дернул! Так больно, мама!

Анфиса, красная от пережитого срама, внутренне кипящая, постаралась говорить спокойно и ласково:

– Петруша, доктор говорит, операцию надо делать...

– Нет, нет! – замахал сын руками испуганно.

– Ты ить женат, надо, чтоб по-людски, как остальные мужики...

– Нет, нет!

– Петя, пожалей Марфу!

– Нет, нет! Сбегу!

Редко бывало, чтобы он не слушался. А тут Анфиса видела – так боится, что против матери пойдет, против черта, прости господи.

– Я тебе сбегу! – заехала она сыну по уху. – Садись в сани, поехали!

Анфиса не была королевой, и императора, который сына уговорит под нож идти, у нее тоже не было. Даже муж отсутствовал, на войну забрали. Конечно, можно Петьку скрутить, пятерых мужиков взять, держать его будут. И смотреть, как ее сыну елду обрезают? Неизвестно еще, что после операции с Петей случится. Умом тронется, будет совсем малахольным, внуков Анфиса не получит, а сын начнет в постель дуть, как в детстве. Пусть уж будет как есть, как Бог рассудил.

Когда Анфиса узнала про беременность Марфы, ночью ей приснился страшный сон. Будто держат Аким и Федот сына Петра, у того порты спущены, а Анфиса когтями у сына между ног дерет, дерет... Кровь так и хлещет во все стороны, на Анфису брызжет, лицо все залито, руки по локоть красные... Проснулась от собственного крика в холодном поту. Предчувствие нехорошее подступило, сердце сжалось и колотится, дятлом стучит, горечь во рту. «Это я с вечера жирного поела, – успокаивала себя Анфиса, – вот и привиделось. Надо молитву прочитать». Она бормотала слова молитвы и знала, что жирные пироги с гусятиной тут ни при чем.

Предчувствовала беду.

Но никакой бедой в их доме не пахло. Напротив, стало веселей, радостнее, улыбчивей. Начались перемены со Степановой женитьбы, и были связаны они с Прасковьей. Вроде и тихая, и скромная, и пугливая, а пришла и точно святой водой жилище окропила. Рядом с ней становилось благостно, легко, чисто. От ее обращения, улыбки, взгляда, который Парася со временем перестала прятать, исходили волны доброты. Они касались других людей, вызывая ответный посыл сердечности. В присутствии Параси казалось невозможным грубить, сквернословить, дурно отзываться о людях, яроститься. Чары ее не действовали только на Анфису Ивановну, которая была вообще глуха к человеческому обаянию, а к добросердечию невесток – вдвойне. Они, невестки, не для умиления предназначены.

Ревнивого неприятия добавил еще и Ерема, сказавший про молодую сноху:

– Как цветок нежный в дом внесли.

Однажды Еремей привез саженец в горшочке, сказал жене, что вырастет из него растение в потолок высотой и красоты африканской. Велел заботиться, поливать. Анфиса для порядка поворчала, но иметь в доме «африканца», как окрестили растение, ей нравилось. Перед соседками с притворной докукой хвасталась:

– Прет и прет этот фриканец. А как зацветет, плоды даст? Вдруг они ядовитые? Дети не ровен час полакомятся.

Анфисе завидовали. Растение не цвело, под потолок не вымахало, но за два года поднялось на полтора метра, поражало нездешней формой резных листьев и цветом – зеленым в красноту. Еремей, когда приезжал, делал новые кадки, лично пересаживал африканца. А потом растение заболело, пожелтело, стало ронять листья. Анфиса написала об этом мужу, в ответном письме он велел растение удобрить – развести куриного помета и полить африканца. Наверное, Анфиса перестаралась, слишком крепкий раствор сделала. Африканец в неделю сторел. Нюраня плакала, Анфисе было досадно. Но Анфиса никогда долго не сокрушалась о том, чего исправить было нельзя.

– На чужой стороне и весна не красна. Что где рождается, там и пригибается, – сказала Анфиса и выкинула растение.

С такой же решительностью она относилась к животным. Одряхлевших собак, неспособных нести службу, велела пристреливать, не кормила из жалости. Да и бесполезные люди, старики например, остро чувствовали, что Анфиса вычеркнула их из ближнего круга тех, кто имеет силы для труда, голодом стариков не морит, но глядит равнодушно, как на

пустое место. Доживай, мол, но не докучай.

Степан, приходя домой, спрашивал жену, не обижала ли ее свекровь. Узнавал не таясь, в присутствии Анфисы Ивановны. Парася, всегда встречавшая мужа с радостной улыбкой, мотала головой и искоса, словно извиняясь за бестактность мужа, поглядывала на свекровь. Анфиса только усмехалась. Она знала, что отложенная кара страшной исполненной, ожидание наказания часто тяжелее самого наказания. Невестка, каждую минуту ждущая свекровино гнева, куда покладистее и удобнее, чем поротая-перепоротая. Кроме того, Анфиса опасалась, что в ответ на ее лютость Степан уйдет, отделится, заживет своим домом. Этого Анфисе решительно не хотелось.

В глазах двух молодых женщин, носивших под сердцем детей, плескались удивление, восторг, страх и надежда – поразительная смесь чувств, порожденная тем таинством, что происходило внутри их тел. Мужчины тоже стали улыбчивее, расслабленнее, чаще шутили. Даже Аким и Федот, чьи сердца давно обуглились от перенесенного горя, поддались общему настроению.

Как-то Нюраня спросила работника:

– Дядя Федот, в клетки мои саночки были, куда делись?

– Безрукий клеть обокрал, – ответил Федот, – голопузому за пазуху поклат, за ними слепой подглядывал, глухой подслушивал, немой «Караул!» кричал, безногий в погоню побежал.

Все рассмеялись. Анфиса, творившая тесто на пироги, оглянулась, посмотрела на работника. Впервые увидела на его лице подобие улыбки, больше похожей на кривую ухмылку. Акима она однажды застала за тем, что тот вырезал деревянную погремушку для младенца. Аким хозяйки не заметил, строгал ножом по деревяшке, дергал головой, смахивая со щек катившиеся из глаз слезы.

– Совсем с ума все посходили! – буркнула Анфиса.

Прасковья и Марфа то и дело о чем-то шушукались, Нюраня пыталась участвовать в этих разговорах, но ее со смешками отсылали прочь или переводили разговор на другое, для девчоночьих ушей позволительное.

Нюраня, как никто другой чуткая к переменам настроения, любившая задор и веселье, наслаждалась теплой обстановкой в доме. Мама почему-то эту обстановку допускала, хотя обычно давила всякое баловство, шум и суету. У Нюрани вдруг появились две старшие сестры – добрые, смешливые, заботливые. Марфа-то была и раньше, не бранилась, не

ругалась, рук не распускала, но ходила точно приспатая, безучастная – как больная корова. А теперь вслед за Парасей и подмигнет, и вкусненьким тайком от мамы одарит. Выслушает Нюру-трещотку, которой надо про все, что на улице поймала, рассказать, откликнется – пошутит или замечание толковое сделает. А Парася – это слов нет, подарок из подарков Нюре. Брату Степану тоже, конечно, но он ведь только вечером приходит, а в Нюранином распоряжении Парася весь день. Даже уроки за нее делает, если прикинуться, что у самой не выходит.

Нюраню называли «наша коза», потому что она любила скакать – вприпрыжку носилась по двору и в доме гарцевала, не могла долго усидеть на месте.

– Уймись, коза! – бросала через плечо мама. – Опять что-нибудь посшибаешь.

– Я коза, бе-бе-е-е! – Нюраня приставляла к вискам указательные пальцы и этими «рожками» принималась всех бодать.

Они включались в Нюранину игру – увертывались, притворно пугались или хватали девочку в обнимку: «А мы свяжем эту козочку!» Или свои рожки выставляли: «На козочку бычок пошел!»

Запрыгнув на спину брату Петру, Нюраня из козочки превращалась в кавалериста, размахивала рукой и верещала:

– Сотня, к бою!

Петр с гыгыканьем прыгал по хате.

Осмелев, Нюраня даже на маму шла в атаку.

Потеряв терпение, Анфиса хлестала детей полотенцем:

– Уймись, черти! Ишь, расшалились. Делать нечего? Так я вам найду занятие!

Нюране, рослой, как и все Медведевы-Туркины, в тринадцать лет можно было дать шестнадцать, почти девушка. Но Нюраня оставалась ребенком, шаловливым и проказливым.

– Чисто дитя, – говорила Анфиса мужу.

– И ладно, – отвечал Еремей, с любовью глядя на разыгравшуюся дочь. – Пусть скачет-веселится, пока можно. Еще натrudится и нагорюется в жизни.

Анфиса ревновала мужа ко всем, даже к родной дочери. Ей-то, Анфисе, не доставалось таких любовных взглядов и улыбок.

Марфа

Когда Марфа поняла, что беременна, она словно проснулась. Вся ее предыдущая жизнь была сном – тягучим, серым, безрадостным.

Мать Марфы происходила из спрятанной в тайге деревни строгих староверов. Отец Марфы оказался там случайно. Двадцатилетний ямщик в метель сбился с дороги и замерз бы, не наткнись на него охотники. Его привезли в деревню, поместили в сарай, бросили тюфяки, одеяла, дали посуду – все это потом сожгли бы, даже чугушки, в которых готовили еду для «поповца», не пожалели бы, выкинули. За добро и спасение ямщик отплатил тем, что, едва поправившись, затащил в сарай подвернувшуюся девицу и слегка потискал. Интересно было, на какой лад у баб-староверок все устроено. На тот же, что и у простых баб? Интерес едва не обернулся погибелью. Пришлось выбирать: или голову под топор, или жениться. Домой приехал с женой, которая была ему что собаке седло. Так и не полюбились: ни он ее сердца не растревожил, ни она его не взволновала, друг другу не простили сломанной судьбы.

Богомольная мама с пеленок воспитывала Марфу (других детей не было) в покорности и смирении. Надо молиться и трудиться, не шалить, не гулять, не бегать с деревенской ребятней, не водить с девушками хороводы. На Марфе лежит грех родителей, который она должна замолить служением Богу и праведным трудом. Мать мечтала, чтобы дочь ушла в обитель. Мать по-своему любила Марфу, и монастырское бытие в сравнении с жизнью среди поповцев казалось ей счастьем.

Марфа помнила момент, когда разуверилась в Боге. В том, что Он существовал, сомнений не возникало. Но Бог был злой, недобрый, милости от него Марфа никогда не получала. Бог устами мамы велел замаливать грех родителей. Но разве Марфа виновна в их грехе?

Мама уже болела, лежала на кровати. Марфа при свете керосиновой лампы читала вслух Библию. К четырнадцати годам она прочла Библию и другие святыя книги от корки до корки раз десять или двадцать – не понимая содержания, не запоминая. А по улице шли на супрядки девушки и парни, залиvisto смеялись, играла гармонь...

– Что ты там бормочешь? – спросила мама. – Не слышу, громче!

– Не верю, не верю в Тебя, – тихо твердила Марфа. – Ты злой, плохой, не верю...

Испугалась своей смелости до дрожи. Но кары за богохульство не

последовало. Не грянул гром и не убил Марфу.

– Пойду тебя проверю, – поднялась она и вышла из дома.

И в коровнике, прислонившись к стенке, глядя на потолок, ждала, что рухнет на нее крыша, прольется огонь страшной кары. Вспомнились слова: «Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он палил их, как солому...» Марфа ждала «в огне пламенне, дающего отмщение неведующим Бога» и в то же время чувствовала, что готова к этой каре и не отступится, и приятно хмелела от своей храбрости. Крыша не рухнула, и огонь не пролился, чаша Божьего гнева на нее не опрокинулась.

На два протеста: отказаться от Бога и от затворничества – у Марфы воли не хватило. До маминой смерти, которая случилась через год, Марфа так и жила монашкой-трудницей, втайне проклявшей Бога. В гробу мама лежала с мирным выражением лица, с легкой улыбкой, словно в конце концов обрела счастливое пристанище. Отца на похоронах не было, он давно устроился на почтовую станцию ямщиком и домой заглядывал редко. К дочери относился с таким же презрением, как и к жене.

Марфу забрала к себе тетка, сестра отца. Она была женщиной сварливой, желчной, обиженной на весь белый свет. Слова в простоте не скажет, только с упреком ядовитым. А все потому, что муж гулял. То ли в самом деле гулял, то ли придумывала – поди разберись.

После маминой смерти от пятнадцати до семнадцати годков Марфа вдруг стала расти и крепчать в кости – вытянулась, налилась силой.

– Одёжи не напасёшься. Все прет тебя и прет на дармовых хлебах, – говорила тетка.

Про дармовой хлеб было несправедливо – Марфа трудилась на совесть, теткино хозяйство благодаря племяннице заметно улучшилось. Марфа была хороша собой – ладная, статная. В ней чувствовалась смиренная сила – как в покладистой кобылице, которую работа не изнуряет, а только прибавляет крепости в теле.

Тетка Марфу на гулянки тоже не пускала. Мама из боязни греха велела дома сидеть, тетка – из вредности. Неизвестно, сколько бы тетка продержала Марфу в черных батрачках, если бы не вздумала племянницу к мужу взрешновать. Совсем с ума съехала, детей своих заставляла за отцом и Марфой следить. Не зря говорится: ревнивой, что вшивой, спокойно не спится.

И тут случилось нежданное, хотя и давно страстно ожидаемое счастье. Анфиса Ивановна Медведева присмотрела Марфу, посватала за своего большака Степана. Тетке жаль было терять дармовую работницу, но

ядовитая ревность оказалась сильнее. Марфа видела несколько раз Степана. Красивый, могутный – из другой жизни, куда Марфа и мизинчиком не совалась. Два месяца после сговора для Марфы стали праздником души. Мутный серый сон сменился розовым, багряным, солнечным.

Бывает, баба выплачется от горя. А Марфа измечталась – от счастья грядущего. Чего только ей сны наяву не дарили, каких она только себе обещаний не давала – сделать Степана счастливым, служить ему истово. Жизнь, впереди лежащая, казалась раем земным.

Но баба выплачется – занозу из сердца вытащит, а измечтается – глубже загонит. Врстет игла в сердечную плоть, клещами не извлечь.

Когда оказалось, что мужем ее станет не Степан, а Петр, Марфа так растерялась, что ничего не соображала, привычно подчинялась чужой воле. И кончились багряные сны, и вернулись мутные, хуже прежних. От супружеских выкрутасов Петра ее воротило, свекровь Анфиса Ивановна, как прежде мать и тетка, заставляла трудиться и трудиться. Видеть Степана, желанного и недоступного, подавать ему завтрак или ужин, трудиться с ним бок о бок в поле – вот все счастье. Потом, когда война с германцем началась, Степан в тайгу ушел. Но за три года любовь Марфы к нему не сгинула, только еще больше обросла несбыточными мечтами.

Это случилось, когда Марфа через щель незатворенной двери в комнату молодоженов увидела, как Степан подхватил жену на руки, закружил. Прасковья его руками за шею обхватила и, смеясь, целовала в лоб, в щеки, в шею...

Ненавидеть людей Марфа не умела, ненавидела только злого Бога. Парася, законная жена Степана, – добрая, смешливая и пугливая. К ней Бог милостив, а к Марфе за грехи родителей жесток. Так я тебе, Бог, не дам больше меня казнить!

В сеннике был крюк на потолке. На этом крюке Марфа решила повеситься. Стояла на скамье, прилаживала веревку, руки дрожали не от страха, а от нетерпения – скорее хотелось удушиться, а петля не получалась.

– Ты что это, девка, удумала? – раздался вдруг за спиной голос свекра Еремея Николаевича.

Он случайно здесь оказался: шел за доской в сарай, услышал возню в сеннике, заглянул.

Еремей обхватил сноху за пояс, стащил со скамьи. Веревка, которую Марфа держала в руках, упала змеей, оплела обоих.

– Ты что? Что? – повторял испуганно Еремей. – Ты чего?

– Не могу! – простонала Марфа. – Пустите, батюшка! Не могу я так больше жить! Лучше смерть.

Марфа смотрела на Еремея сухими, лихорадочными, без слезной влаги глазами. В них были боль и отчаяние такой силы, что, окажись на месте снохи мужик, Еремей разжал бы руки – иди, человек, вешайся, я не вправе обречь тебя на продолжение земных страданий. Еремей никогда не задумывался о судьбе Марфы, а теперь ее горести враз открылись ему. Неудалый отец Марфы, бросивший семью. Мать, вечно закутанная в черное, истово богомольная, нелюдимая, потом тетка, злая и придурочная, муж Петр губошлеп, свекровь доброй матушкой не стала, и забота ее о невестке не более, чем о скотине...

Жалость к Марфе растопила сердце Еремея, а вслед за жалостью вспыхнуло желание.

– Ну, будет, будет... – Он не отпускал Марфу, сначала пальцами свободной руки вытирал у нее слезы со щек, потом губами собирал...

Гладил ее ласково и медленно раздевал, говорил нежные слова, которых Марфа никогда не слышала, успокаивал и чутко откликнулся на то, что ей не понравилось, когда захватил губами сосок. Отпустил и стал ушко языком щекотать.

Муж Петр к Марфиным сосцам по ночам тянулся, кусал и чмокал, ерзал, пыхтел. Так противно было, хоть вой. Крепилась, терпела, пока он не пустит лужицу ей на живот или на ляжку, не откинется, не захрапит.

Это был грех. Но ведь Еремей Николаевич – свекор, ему видней, как правильнее. Бог грех не любит, а Марфа Бога не любит. Пусть Бог подавится!

На стылом зимнем сене Марфа стала женщиной. Она не пережила плотской радости, потому что в какой-то момент стало очень больно, едва не вскрикнула, зубами губу закусил. Свекор Еремей Николаевич в ее девичью преграду продолжал тыкать и тыкать, словно кол забивал. Это он Богу по лбу бил. Так Богу и надо! Измывался над Марфой, пусть теперь сам покорежится!

– Натворили мы с тобой делов, Марфа, – сказал Еремей Николаевич, когда все закончилось, когда расправлял по ее ногам юбки.

– Вы меня, батюшка, из петли вынули, с того света вернули. Я вам не судья. А в Божий суд давно не верю.

– Да? – удивился Еремей Николаевич. – Экая ты, однако!

Потом у них еще несколько раз случилось. По обоюдному сговору,

вернее – скорому перегляду. Глазами встретились, договорились без слов, схоронились в сеннике или в амбаре...

Анфиса ничего не замечала. За Марфой она давно не следила. Тетёха и есть тетёха. Хотя, когда открылась Петькина ущербность, зорко наблюдала – не найдется ли охотник Марфу распечатать, не потянется ли невестка к чужой елде. К члену с головкой, как говорил доктор, чтоб этому доктору в гробу перевернуться, если помер, или коростой покрыться, если жив.

Так бывает, когда ждут-ждут опасности, но она не приходит, и постепенно бдительность угасает. Какой-нибудь дом ограбят варнаки, хозяева бдительно каждую ночь замки проверяют, а через месяц-другой спокойной жизни снова забывают ворота запереть.

Когда Марфа поняла, что беременна, ее тяга к ласкам свекра вмиг исчезла. Марфа проснулась. Теперь – навсегда. Никто не мог забрать у нее счастья – крохотного дитятки, которого растила под своим сердцем. Марфа стала другой по-настоящему. Презрение к мужу, страсть к Степану – все отошло в сторону, ничто не имело ценности в сравнении с ней самой. Впервые в жизни Марфа чувствовала гордость не от копеечных подарков Степана, не от скупой похвалы мамы, тетки или свекрови. Она, Марфа, была сама по себе и гордость, и благодать, и надежда, и будущее багряное.

Еремей тоже потерял интерес. Его никогда не возбуждали счастливые женщины. Он испытывал легкий стыд перед женой, но не раскаяние. Не оправдывался мысленно, не ставил себе в заслугу, что вынул сноху из петли. И не пытался Марфу задобрить, чтобы молчала. И по пословице «смалчивай, сноха, сарафан куплю» себя не вел. Стал чуть внимательнее и ласковее к Марфе, и только.

Еремей легко расставался с земными страстями, но был безоружен перед страстью к творчеству. Не Марфа стала занимать его мысли и будить желания, а многоярусный наличник с узором, представляющим собой дерево, оплетенное змеей, подбирающейся к чудной птице наверху, который месяц не получался. Еремей переделывал его несколько раз, но изделие никак не удовлетворяло, начинал заново, улучшая детали, и опять не выходило то, что грезилось.

И Марфа, на свой лад, не терзалась, хотя понимала, что виновата. Перед Богом грех для нее был не страшным, а даже презрительным. Бог теперь напоминал Марфе седобородого деда Егора, жившего с большой семьей на краю села. Когда-то Егор Семенович был силен, лют, вспыльчив и скор на расправу. Его все боялись: и родня, и соседи. А теперь из почтения делали вид, что трепещут, когда старик, криволицый и

подволакивающий ногу, размахивает палкой и гнусаво бранится. Однажды Марфа видела, как дед Егор замахнулся на Данилу Сороку, а тот ему кулак в нос:

– Уймись, старый! А то и вторую ногу сломаю!

И дед Егор струхнул, бормоча под нос ругательства, заковылял прочь.

Так и Бог, раньше грозный и суровый, превратился в старикашку, который пугает Страшным судом, пылающим огнем, а поделатъ ничего не может.

Муж Петр права не имел обвинять Марфу, ведь как женщину он ее только мучил. Подушкой Марфа мужа не придавила, потому что смертоубийство было страшным грехом – не перед Богом, а перед людьми и перед собой. Марфе проще было себе петлю на шею накинуть, чем чужую душу погубить.

Она наплела мужу, чья постылость как будто меньше стала, переносимей, не столь тошнотворной, что его, Петра, семя чудным образом в нее затекло и потому она забеременела. Петр поверил и обрадованно загыгыкал. Его радость была не отцовской, без гордости за продолжение рода, а нелепо детской. Точно Петру пообещали братика или сестричку. Отгыгыкав, Петр сказал:

– Мама довольная будет!

Свекровь, когда Марфа ей призналась, что тяжелая, спросила:

– Как у вас вышло-то?

И тут же пожалела о своем вопросе. Выслушивать подробности Анфисе не хотелось. Всего того, что напоминало о позоре в докторском кабинете, она предпочитала не касаться.

Марфа покраснела, глядя в пол, пробормотала:

– Вот, вышло.

– Бог не без милости, – отрезала свекровь. – Что-то кислым тянет, иди проверь, не забродила ли квашня.

Марфа отправилась исполнять приказ, улыбаясь. Она теперь часто улыбалась. За всю прежнюю жизнь столько не улыбалась.

Вина Марфы перед свекровью, конечно, имелаась. Но счастье было безгранично велико, и в нем топилась любая вина. Петр глуп, а свекровь Анфиса Ивановна сильна. Глупых и сильных не жалко: первые не поймут, вторые переживут. Кроме того, согрешник Еремей Николаевич вел себя так, будто ничего срамного не случилось, будто так и надо. Свекор – человек добрый и совестливый. Если он не кручинится, если и тени раскаяния и стыда не промелькнет на его лице, то чего уж Марфе этим голову забивать? Как-то Еремей Николаевич заметил: «В чем грех, в том и спасение». Это

точно про нее, про Марфу.

Свой грех она положила в сундук, как убирают с глаз долой ненужные вещи, закрыла крышкой и не вспоминала, что там хранится. Всего три вещи, три греха: богоотступничество, любовь к Степану и вот теперь сожительство со свекром.

Проходка

Ожидание детей, которые появятся на свет, сродни ожиданию весны, рождения нового цикла природы, в котором буйство лета – это молодость, осень – пора зрелости и подведения жизненных итогов, спячка зимы – как умирание.

Но и настоящая весна не припозднилась. Ярко светило солнце, на приседающих сугробах рябью плясали синие тени. Ночью примораживало, снег покрывался коркой, которая днем играла радужным самоцветным блеском. Выстуженная земля показалась только на взгорках и в проталинах на дне весело бегущих ручьев. Уже чувствовался легкий дух земли, он носился невидимыми струями, щекотал ноздри. Совсем скоро весенний запах земли – прелый, хмельной, манящий – заполнит все вокруг. И у крестьян извечная тяга к труду на земле станет непереносимо острой. Готовясь к первому выходу на поле, они будут притворно строго покрикивать на домашнюю скотину и птицу, которые беспокоятся так же явно, как люди, чувствуя весеннее обновление и связанное с ним ожидание новых свежих кормов, и спаривания, и сытной летней благодати, и рождения потомства.

Приезд землеустроителей и землемеров раньше, когда началась чехарда с переселенцами, превращался в маленькое восстание, сопровождался криками, руганью, до кулачного боя доходило. Но в двадцать четвертом году перекрой наделов не вызвал бури эмоций. Никто не хотел брать много земли. Зачем корчиться, если излишки урожая потом все равно отберут? Земли нужно ровно столько, сколько требуется на личный прокорм. Сибирские крестьяне, наученные продразверстками, а еще раньше колчаковцами и бандитской шелупонью всякого толка, трудиться на чужого дядю не хотели. С болью в душе Степан каждый год смотрел на захирение, скукоживание хозяйств, на постоянно сокращающиеся пахотные площади, когда-то отвоеванные предками у суровой сибирской земли, а теперь порастающие диким подлеском.

Анфиса к приезду землемеров подготовилась, много часов провела, делая рутинную домашнюю работу, осмысливая, как и власть обмануть, и свой достаток увеличить. В числе преимуществ семьи Анфисы, которые возникли и сохранились только благодаря ее уму, хозяйской сметке, знанию людей и своеобразному отношению к изменениям в политике, имелось

одно самое главное. У Анфисы было пять здоровых и крепких мужиков: два сына, два работника и муж. Из многих дворов на пашню, а потом на сенокос и жатву выйдут мальчишки-подростки да девчонки. У вдов сердце кровью обольется, когда обрекут они малолеток на тяжелый труд, но выхода нет – мужиков-то повыкосило в лихолетье, а жить-питаться надо.

План Анфисы состоял из двух частей. Во-первых, она отселила работников Федота и Акима. Бывшую пимокатную мастерскую подремонтировали, утеплили стены, сложили печь, поставили мебель. Теперь работники жили отдельно, хотя столовались в хозяйском доме. На полном основании Аким и Федот могли претендовать на наделы как отдельные хозяева.

Степан прекрасно понимал хитрость матери:

– Они же от тебя ни на шаг! Как телята, без веревки привязанные. Ты с их наделов загребешь и себе на заимках спрячешь!

– Не себе, а нам, – усмехалась Анфиса. – И кто знает, как дело повернется. Может, еще женятся, детей нарожают. А тут и свое хозяйство.

– Как же! – кипятился Степан. – Женятся, нарожают!

– Сам с ними поговори.

– Говорил. Одно твердят: как Анфиса Ивановна скажет. Вот ты, Еремей Николаевич, – поворачивался он к отцу, – как думаешь?

– Я думаю, что ты сам и власть твоя не знаете, чего хотите. То ты о сокращенье земельных угодий горюешь, то тебе земли мужикам жалко.

– Мне не жалко! Я хочу по справедливости!

– Ладил мужичок челночок, а свел на ухвертку, – пожимал плечами Еремей.

– Мы по закону для Акима и Федота землю требуем? – спрашивала Анфиса.

– По закону, – вынужден был признать Степан.

– Тогда и спора нет. Может, Акимка да Федотка и не нарожают, а про будущность все равно думать надо. Ты же, Степушка, скоро отцом станешь, а хозяйской мысли у тебя в голове и толечки нет. Весь в отца! Сидит полный день досточки режет! Еремей Николаевич! Я к тебе обращаюсь! – повысила голос Анфиса. – Брось деревяшки, иди плуги проверь! Да и коней подковывать пора! Послал мне Господь работников! У одного политика, у другого деревяшки...

Когда Анфиса начинала браниться и проклинять судьбу, отец и сын считали за лучшее скрыться от ее глаз. Анфиса отпускала, в спины кричала. А попробовали бы другие: Петька, дочь, невестки, работники – ушмыгнуть! Анфиса еще пуще разъярилась бы от такого неуважения, и

досталось бы им значительней.

Анфиса отселила бы Петра с Марфой, чтобы свое хозяйство завели, тогда урожай с их наделов пошел бы в общую копилку, то есть в закрома Анфисы. Но была опасность, что и Степан вздумает уйти, своим домом жить, а это Анфисе пока было крайне невыгодно.

Вторая часть плана касалась новых свойственников – матери Прасковьи и ее нищего семейства.

Анфиса была спесива и не любила бедноты. Если уж иметь право ходить с гордым лицом, то не среди голытьбы. Она выросла в обстановке сытого достатка, купеческого благополучия. Бедными в пору ее детства и отрочества были только лентяи да лишенцы. С лентяями разговор короток, лишенцам положена христианская милостыня. На милостыню Анфисина родительская семья никогда не скупилась. Отец и мама своим примером приучили Анфису к тому, что за свое доброе дело, за поданную милостыню ждать благодарности не следует. Потому что ты не ради сладких слов одариваешь, а для спасения своей души и тем, что по милости Божьей имеешь. Эта установка отлично вписывалась в непомерную гордость Анфисы. Ей не требовались излияния благодарственные, она кривилась, когда их слышала. Ей хотелось положения! Если не самой богатой быть, то очень богатой – из первых. Ей нужно было иметь возможность одаривать, которая для Анфисы была важнее самой пылкой признательности. Но в последние годы все переменялось – в бедноту откинуло многих, если не большинство. И вины в том людей не было, и на злой рок, вроде пожара, не попеняешь. Огонь, спаливший хозяйства, был не натуральный, а политический. Однако характер Анфисин он мало поменял – как не уважала она бедноту раньше, так и теперь не любила.

Она многим помогала: семье погибшего брата, племянникам со стороны мужа, старой тетке, троюродным деду с бабкой, у которых не осталось кормильцев. Помощь ее была главным образом продовольственная. Не закармливала, но с голоду помирать не давала. На Анфису произвел жуткое впечатление рассказ одного мужика из Ишимского уезда. У них реквизировали даже семенной хлеб, от голода стали скотомогильники раскапывать. Сибирские крестьяне! Из Ишимского уезда и полыхнуло Восстание, которое подавили кроваво. Бедных и голодающих стало еще больше.

Время от времени Анфиса посылала работников или сына Петра к своей нищей родне на срочно необходимые работы – дырявую крышу починить, печь переложить. Но ходить к Анфисе с просьбами было

бесполезно. Челобитчиков она не терпела, как не любила оказывать лекарскую помощь захворавшим односельчанам. Анфиса сама определяла, кому чего требуется. Кроме учета собственных нешуточных запасов, держала в голове крайние нужды нахлебников, помнила, у кого мука кончилась, чьи детишки износили одежду до тряпья.

Когда Степан женился, семья Солдаткиных вошла в число тех, кому покровительствовала Анфиса, не давая помереть с голоду. Прасковья, желая навестить маму и брата с сестрой, спрашивала разрешения у свекрови уйти со двора, но никогда не просила гостинцев. Анфиса Ивановна могла отпустить невестку, а могла запретить и дать грязную работу. Могла щедрый подарок передать, вроде мешка муки или большого шмата солонины, а могла буркнуть:

– Пирогов возьми. Три штуки. Да не с рыбой, а с капустой! Развелось дармоедов!

Прасковья кланялась:

– Спасибо, Анфиса Ивановна! – А больше ни слова. Свекрови не нравилось, когда бедные языками чешут.

Однажды Нюраня, которая обожала с Прасковьей или одна к Наталье Егоровне бегать, стащила из кути для Вани и Кати Солдаткиных оставшиеся от завтрака шанежки. Когда Нюраня вернулась домой, Анфиса Ивановна выпорола ее жестоко. Орала, что из-за Нюрки-воровки теперь Солдаткины зубы на полку положат, с голоду подохнут, корочки сухой больше не получат. Чтоб знала дочь из дома таскать!

Как Нюраня плакала-выла! Стекла дрожали. Еремей Николаевич попытался вступить за дочь, так и ему досталось за то, что грабительницу выгораживает. Анфиса Ивановна разошлась нешуточно. Два порока: воровство и лукавство – она ненавидела и не прощала. Хотя сама, все близкие знали, на чистом глазу врал Степану про истинное количество своего добра и припасов.

На следующий день Наталья Егоровна, каким-то образом прознав о наказании Нюрочки, пришла с шанежками – своими, испеченными из муки, которую заняла у соседей.

Анфиса Ивановна не из тех, кто быстро отходит, полыхнул и погас, поразорялся, руки распустил, а через несколько минут успокоился и пряник дал. Анфиса Ивановна вспыхивала бурно и горела долго, по несколько дней могла за провинность корить.

С каменным лицом она приняла от дрожащей Натальи Егоровны гостинец, позвала дочь, ткнула пальцем – велела сесть на лавку. И швырнула перед девочкой узелок с шанежками.

– Ешь! Все ешь!

Нюраня, которая вчера исплакалась до сухой икоты, которую Марфа и Прасковья отпаивали, теперь снова захлюпала носом.

– Я сказала – ешь! Жри, воровка!

Степана дома не было. Он не позволил бы над сестренкой измываться. Еремей Николаевич только со сватьей поздоровался и выскользнул из избы. Невестки, сватья Наталья Егоровна, Анфиса Ивановна и Петр, гыгыкающий, наблюдали, как трясущимися руками Нюраня толкает в рот еще теплые булочки, давится ими...

И все-таки Прасковья свою свекровь любила, потому что не могла не любить всех, кто со Степаном одной крови. Но это была странная любовь – как к солнцу, например. Очень нужно солнцу, чтобы ты его любила? Даже если это солнце согревает сирых и убогих.

Своей угрозы в отношении Солдаткиных Анфиса Ивановна не выполнила. Три недели продержала их на голодном пайке и Прасковью к родным не отпускала, а потом снова послала и пшена, и холста, и шерсти пряденой – ребятишкам теплой одежды на поддевки навязать.

Прасковья безмерно уважала Анфису Ивановну за поистине генеральскую способность руководить большим хозяйством, которое вдобавок делилось на хозяйство явное и тайное. Степа говорил, что хорошие командиры добренькими не бывают, и каялся тихо в их ночных беседах, что недостает ему твердости, что добренький он. Прасковья горячо возражала: не может доброта быть во вред! Однако самодурство Анфисы Ивановны, доходившее до неоправданной жестокости, Прасковья приписывала именно генеральству свекрови. И перепады настроения: суровость и одновременно щедрая помощь, раздаваемая с безгливой миной, – все это было, по мнению Прасковьи, малой платой за генеральство, от которого многим жилось неголодно.

Анфиса Ивановна никогда в доме Солдаткиных не бывала, а тут вдруг распорядилась, сказала Прасковье:

– Свечереет, к матери сходи. Скажи, воскресным днем я к ней загляну. С тобой Федот пойдет, на санках кой-шо отвезет. Обрато Степан тебя пусть заберет. Сидит в своем правлении денно и ношно, бумажки перебирает, умаялся поди.

Свекровь без острой надобности беременных невесток на улицу не пускала. А если и выходили они за ворота, то с сопровождающим. На весенней дороге скользко, упадут не ровен час, зародыши выкинут,

кровями изольются, матку порвут, и больше детей не будет. Всего этого Анфиса Ивановна не объясняла, Прасковья и Марфа сами знали. Так случилось (двадцать лет назад) с Анфисиной двоюродной сестрой, которая после выкидыша не оправилась и зачахла через несколько лет.

«Санки Федоту свекровь большие или маленькие собрала? – мучило любопытство Прасковью. – И зачем в воскресенье к маменьке зайвится? Ой, страшно!»

Санки были большими, и дары на них, холстиной от чужих глаз укрытые, – царские. Зерно всякое, круги замороженного молока (коровы в простое перед отелом, а у Анфисы Ивановны загодя припасено), и сыр, и мясо вяленое и соленое, бутылка постного масла, репа, капуста, морковь – свои-то овощи на исходе. Конечно, Пасха скоро, а к святому дню Анфиса Ивановна была особенно щедра. Хотя сыну Степану, безбожнику, уступила: не отмечали у них в семье теперь религиозный праздник широко. Яйца красили и куличи пекли, тайком в церкви освящали, но гостей не приглашали, большого застолья не устраивали.

Мать Прасковьи подаркам, конечно, порадовалась, перекрестилась на иконы:

– Дай Бог здоровья Анфисе Ивановне! Не забудь про ее дела праведные, не суди строго за грехи невольные.

– Мамаша! Анфиса Ивановна через три дни к тебе придет.

– Пошто? – оборвалась на полуслове Наталья Егоровна и повернулась к дочери.

– Не спознала я.

– Дык что свекруха сказала-то?

– Что придет.

– Дык пошто?

– Не говорила.

– А по намекам?

– У Анфисы Ивановны намеков не бывает.

Мать перепугалась не меньше дочери. Они долго гадали-рядили, но так и не придумали, зачем Анфисе Ивановне понадобилось в гости ходить. Суетливо убрали в доме, и без того чистом в преддверии Пасхи.

Анфису тоже занимали мысли о предстоящем визите, и касались они не самого предмета предстоящего разговора, а одёжи – во что нарядиться? Анфиса редко выходила за ворота. По скудости времен родня, которой не откажешь, праздники теперь устраивала редко и гостей не приглашала. По дворам шастать, сплетни разносить Анфиса была не охотница. Ей самой

все на хвосте сороки приносили – как правило, из тех благодарных женщин, кому Анфиса помогла своими подаяниями, или племянницы-тараторки. И теперь Анфису заботил ее внешний вид – надо так одеться, чтобы и не дорого-парадно, и не позорно-скудно, чтобы и дать понять достаток, и не вызвать злопыхательства. Ведь ей предстояло пройти все село, почти из конца в конец. И в этом заключалась вторая сложность. Дорога – чистый лед, а миновав главную улицу, надо повернуть налево, там спуск. Упадет Анфиса и покатит на задку под горку. То-то смеху будет: шла павой, да приземлилась канавой. Послать работников ночью песку на спуск насыпать, палку в руки взять? Все не годится – кривотолки пойдут.

По насупленному лицу жены Ерема видел, что ее что-то заботит, и – редкий случай – поинтересовался, в чем дело. Анфиса сказала, мол, собирается сватью проводить, а на улице склизко, упадет, ноги-руки переломает...

– Юбки задерутся, – подхватил Ерема, прекрасно знавший, как важно для жены выступать боярыней, – и вся деревня твое исподнее будет лицезреть. Я тебе, Анфисушка, на подошвы ботиночек сейчас кошки маленькие сделаю. Вроде тех, с которыми шишкобои на деревья лазят, только крохотные и незаметные.

– Ну, сделай, – вспыхнула от удовольствия Анфиса.

И весь день, и следующее утро она пребывала в хорошем настроении, заражавшем всех домашних. Анфиса была точно печь, от которой зависит температура в доме: печь холодна – озноб прошибает, печь чуть теплая – уже не зябко, однако не рассупонишься, а когда печь дом нагрела – тело и душа радуются.

Анфисино доброе настроение объяснялось тем, что муж в последнее время к ней переменился. Не смотрел досадливо или как на пустое место, не огрызался. Анфиса то и дело ловила его взгляд, в котором были непривычная нежность и сочувствие. Не зная истинных причин перемен в Еремее, она приписывала их тому, что муж наконец понял и оценил ее служение семье. На четвертом десятке лет совместной жизни дошло-таки до него!

Проход по селу удался. Воскресный день был солнечным и повесенному празднично громким: журчали ручьи, стрекотали птицы, на которых лаяли собаки, в чьей брехне слышалась не злоба, а прикрик для порядка.

Анфиса нарядилась в длинную, лазоревого цвета шелковую телогрею, подбитую беличьим мехом. Телогрея была красивой, добротной, однако не новой – бабы, прекрасно знавшие гардероб друг друга, много раз видели

эту одёжу. Голову же Анфиса повязала яркой шалью с кистями и красочным узором из цветов под названием розы, алых на зеленом сочном фоне.

Перед выходом из дома Анфиса крутилась перед зеркалом, наряжаясь, спрашивала мужа:

– Узнаёшь?

– У тебя в сундуках столько припасено, не упомнишь.

– Ить, беспамятный! Сам же с войны привез, про цветы розы рассказывал, – не без кокетства обругала Анфиса мужа.

– Верно, – почесал он затылок. – Хороша ты, Анфиса Ивановна! Чисто царица!

И про себя добавил: «Только мне в цари никогда не стремилось и не желалось».

Анфиса же подумала, как давно Еремей не называл ее крокодилицей, не наваливался ночью в супружеском пиханье. И тотчас отогнала эти мысли. Без пиханья Анфиса не страдала, Еремей, наверное, тоже.

С собой она взяла дочку Нюраню, которая каталась туда-сюда по ледяным дорожкам, пока мама разговаривала с женщинами. Раз пять или шесть, может больше, останавливалась. В телогрее было жарковато, но когда Анфиса стояла на месте, весенний ветерок охлаждал лицо, шаловливо забирался под юбки, остужал, и, к своему удовольствию, Анфиса чувствовала, что ее лицо не горит потно, а значит, цвету нормального – с румянцем, но без пунцовости.

Нельзя сказать, что бабы горохом высыпали с Анфисой здороваться. Однако невидимый телеграф работал, ближе к Солдаткиным по двое-трое на улицу выходили. И не молодухи, конечно, а ровесницы, с которыми словом перемолвиться не зазорно. Говорили про то, как перезимовали, про отел скота, про предстоящие пахоту и сев. Рассчитать, сколько ржи, ячменя, конопли, других злаков посеять, – тоже наука. Обычно стратегию хозяева-мужики определяли. Только не стало мужиков.

– С фабричными весшами недостаток, – говорила Анфиса. – Сами знаете, с городом торговли нет. Ножницы сломались, иголки кончились – беда, в Омске не купишь, с деньгами кутерьма. Да и откуда деньги-то брать? Я мужа и работников посылала в город, с кукишем вернулись. Надо только на себя надеяться. Одёжи домотканой много потребуется. Стало быть, коноплю да лен сеять... Нюра! Куда эта пострелка ушмыгнула? Чистое наказание! Огонь, а не девка. Что прясть, что играть – не уследишь за ней. – Анфиса дала понять, что ее дочь по природе бойка и выращена правильно. – Прощайте, бабы! Сватья, поди, заждалась меня.

Анфиса лукавила отчасти. В том, что фабричных товаров не достать, что требуется посконь, из которой раньше шили рабочую одежду, а теперь и на повседневную пойдет, никакого секрета не было, бабы сами это знали. Однако, услышав подтверждение от авторитетной Анфисы Турки, сделались спокойней и уверенней в решениях, которые теперь принимали за мужиков, за хозяев погибших.

Другое дело, что Анфиса, не терпевшая в чем-либо недостатка, помалкивала о том, как время от времени тайно отсылает с грузом в Омск работника Акима. Он там продает знакомому человеку, важному барышнику, продукты, а взамен приобретает по Анфисину списку фабричное.

Анфиса пыталась к торговому обмену мужа приспособить, но из Еремы купец как из петуха наседка. Продал за бесценок, список потерял, накупил каких-то только ему требующихся ножичков, леденцов для Нюры и сломанную валяльную машинку, которую так и не сумел починить из-за недостатка деталей.

Налаженный товарообмен с омским барышником Анфиса считала очень важным. Без городских вещей их жизнь скатится в низкое существование, которого Анфиса допустить не могла. Барышник предлагал расширить дело, через Акима предложения слал. Но Акиму, честному и преданному, сметки не хватало развернуться, чтобы вести дела и втайне, и с прибылью взаимной. С барышником требовалось лично встретиться. Для Анфисы в путь пускаться – нож острый, к себе барышника звать под чужие и родного сына Степана очи нельзя. Она пока не нашла решения. Приторговывать городскими вещами в деревне Анфиса не собиралась. Чем с ней будут расплачиваться? Таким же зерном, которое она в город отправила. Или отдавать припрятанные золотые и серебряные украшения с камнями. Но тогда она прослышет ростовщицей, и станут шептаться, что Турка-то на самом деле жидовка. Денег надежных нет, и это главный тормоз торговли. Остается золото – песок, слитки или самородки. Схема, по которой излишки продуктов будут превращаться в золото, еще до конца не выстроилась в голове Анфисы. Золотишко у нее имелось. Кованый сундучок был закопан на углу за баней, сверху всегда стояла большая кадушка для сбора дождевой воды. Никто про клад не знал, Анфиса сама зарыла его в ночи. Она собиралась жить вечно, да и не было пока в ее большой семье человека, которому можно передать все секреты.

– Анфисушка! Христом Богом! – сложила молитвенно руки Аксинья Майданцева.

Она давно поджидала Анфису на дороге и теперь подскочила, забыв поздороваться.

«Совсем старуха, – подумала Анфиса, – а ведь младше меня годков на пять. Да и как тут не состариться?»

У Аксины, когда-то красивой девушки, потом статной наливной женщины, было пятеро сыновей. Она их рожала легко, каждые два года выстреливала. И все сыновья Аксины были как на подбор – друг на друга похожие, могутные, нраву смирного и силы богатырской. В деревне шутили, посмеиваясь над ее мужем Иваном, с которого сыновья были чистыми слепками: «Рано ты Аксины заслонку поставил, а то бы нарожала гвардейцев по лекалу для царской охраны!»

Не было сейчас у Аксины ни мужа, ни сыновей – всех покосило в войнах и восстаниях. Остались три невестки от сыновей, которые успели жениться, старые отец с матерью и свекор со свекровью – фамилии были крепкими, доживали до преклонных лет, но из-за обвалившихся несчастий старики ослабели и телом, и разумом, стали хуже детей. Детей же, внуков Аксины, – три девки да четырнадцатилетний Максимка.

– Молю к тебе! – продолжала, захлебываясь, Аксины. – Грызё у Максимушки, а сев на носу. Он у нас единственно последняя надежда. Мучится парень, а говорит, в поле пойду. Уж заговаривали грызё сколько раз! К бабке Затворихе в Черную пядь возили. Умолила я ее, на коленях стояла, прошептала она над Максимушкой заговор и молитву справила. Не помогло! – Из глаз Аксины полились слезы.

«Сколько плакала, а не выплакала», – подумала Анфиса. «Пока есть потомство, дети или внуки, нас не сломать и слез наших не вычерпать. Умаетесь!» – кому-то погрозила она мысленно.

С Аксиной заговорила без снисхождения строго:

– Будет тебе мокроту разводить! Обратным ходом зайду. Вылечится твой Максимушка.

– Правда, Анфиса? Я за тебя день и ночь молиться...

– Прикуси язык! Ты ведь Майданцева! А Майданцевы ни перед кем не канючили. Зайду, прощевай!

Анфиса сделала несколько шагов и услышала за спиной недобрый шепот: «Тебя-то не коснулось!»

Анфиса повернулась и встретила глазами с Аксиной. С прежней Аксиной – гордой до заносчивости матерью пятерых сыновей, которые, правильно воспитанные и выращенные, слушались ее беспрекословно, уважали авторитетно.

Их разговор-перегляд без слов длился секунды, но в него вместились и

прошое, когда Анфиса с гыгыкником Петром и большаком Степаном против Аксиньи не шла в сравнение, и настоящее, в котором у Аксиньи, кроме внука-подростка, не осталось никого, а у Анфисы пять мужиков-работников, и справедливое замечание Анфисы: «Тут моей воли не было, только Божья!», и покорное признание этого Аксиньей.

Она опустила глаза, опять превратившись в суетливую старушку:

– Ждем, Анфисушка, соблаговоли!

Анфиса молча двинулась дальше. Она знала, как помочь Максиму, и смотреть-щупать мальчонку для этого не требовалось. Хотя без смотрения не обойдешься – Аксинья не поверит, что за глаза Анфиса может лечение определить.

Про лечение грызи Анфиса все поняла благодаря тому же доктору, про которого вспоминала с проклятиями. И сейчас, несмотря на благодушное настроение, привычно пожелала: «Чтоб тебя искривило всеми членами, и тем, что с головкой!»

Перед Анфисой с Петром в очереди к доктору была молодая баба с полугодовалым ребенком. Анфиса сидела около дверей кабинета, голос у бабы был высоким, визгливым, доктор басил, и Анфиса их разговор слышала отлично. Баба трындеда, что грызь уже заговаривали-перезаговаривали, а не действует, малец как заплачет, так у него выпирает, точно яйцо из нутра вылезает.

Доктор, очевидно, в этот момент ребенка щупал своими белыми руками... Анфису потом его руки поразили – пухлые и болезненно бледные, как у прачки, все в морщинках мелких.

– Грызь, грызь, – басил доктор. – Кого грызть, зачем? Гры-жа! – сказал он по слогам. – Трудно вам нормальное слово запомнить? Обязательно нужно на свой манер. Ну, да, грызь, тьфу ты, грыжа паховая. Заговаривать – это, конечно, полезно для вашей дремучей психики, – бухтел доктор.

– Дык мы и росой утренней окропляли, и колосками зелеными поглаживали...

– Баба, цыть! – повысил голос доктор.

Анфиса подозревала, что он пытался внедрить в сознание сибиряков ученые знания про лечение болезней и про устройство человеческого тела. Но сибиряки ничего не принимают с ходу и на веру, а про устройство им без надобности, человек ведь не свинья или теленок, чтобы его свежевать. Возможно, из сотен пациентов доктора только Анфисе, просидевшей у кабинета два часа и услышавшей много интересного, наука пошла на пользу.

– Баба, слушай меня и не разевай рот! – продолжал доктор. – Тут у ребеночка под кожей особая плёночка, вроде рогожки. Рогожка порвалась, и наружу из животика петля кишки вылезла...

– Ой, горе-то какое!

– Заткнись! Никакого горя, заурядная паховая грыжа, у каждого десятого. Баба, вот ты резала серпом или ножом руку, палец?

– Как без того?

– И оно зарастало, верно?

– Если приложить лист...

– Молчать! Не смей мне говорить о листьях подорожника! Оно зарастает само, благодаря силам организма. И грыжа зарастает в восьмидесяти процентах случаев. Безо всяких заговоров. Отсюда вера в знахарок. Пусть хоть наш Федька-истопник, потомственный олигофрен, пассы исполнит: если организм справится, то зарастет. Ты поняла?

– Про Федьку?

– Почему мне иногда хочется вас убить, если я решил вам служить? – простонал доктор. – Твоему сыну нужно делать операцию. Никакие заговоры больше не помогут.

Анфиса тихо перекрестилась, не подозревая, что доктор им тоже пропишет операцию.

– Ой, резать моего маленького! – заголосила баба.

– Молчать! – гаркнул доктор. – Подожди... мне надо лекарство принять... Завтра поутру я сделаю операцию...

– Спасибоочки, мы домой...

– Ни с места! Грамотная? Вот тебе бумага, ручка, чернильница. Пиши: я такая-то, фамилия, имя и по батюшке, православной веры, соглашаюсь, чтобы мой ребенок умер по моей доброй воле...

Баба с перепугу начала заикаться:

– Дык как? Ой! Дык что ж? Дык я ж...

– Если не хочешь на себя грех брать и похоронить первенца, умершего в страшных муках, то слушай меня! Пойдешь сейчас в палаты, найдешь фельдшерицу Марию Гавриловну, скажешь, я велел определить. Все! Шагом марш на выход! Зови следующего.

Анфиса давно подозревала, что заговоры действуют не на причину недуга, будь то грызь или сухотка, а только на сердце и на голову человека, которые есть источник настроения – радости, горя, надежды или отчаяния. В радости человек может горы свернуть, а в горе не находит сил клопа раздавить.

Мысль эта была крамольной, потому что в действие заговоров верили все, даже безбожники. Сомневаться в том, что заговоры бесполезны, было равносильно утверждению, что плуг не пашет. Конечно, не пашет, если пахарь неумелый или земля каменная. Плуг виноватить глупо. Так и заговор бессилён, если знахарка-ворожея неопытная или больной человек одной ногой уже в могиле. Сомнения Анфисы были связаны с тем, что сама она, безусловно предчувствуя только смерть или выздоровление, а никак не способы лечения, с ходу придумывала якобы верные средства. Поскольку в главном Анфиса никогда не ошибалась, то и ее придумки всегда оказывались эффективными.

С другой стороны, как объяснить ее внутренний голос, ее предчувствия? Она их, голос и предчувствия, не любила, поскольку не знала их природы. Изжога бывает, когда жареного переешь, а *это* откуда прет? Когда Анфиса, уступив мольбам, приходила к больному, она мысленно настраивалась, задавала кому-то неведомому внутри себя вопрос, и он отвечал. Кто он-то? Не иначе как бес. Не ангел же внутри нее сидит, на святую она не похожа, а с бесом дела вести страшно. Повторить вопрос просто так, без настройки, среди бела дня даже в ситуации важной, например по зеленым предсказать урожай, Анфиса не могла. Бес спал. Но иногда приходил по ночам, душил до дикости страшными видениями. Степана не отпустила на войну, в ногах у него валялась, лицо исцарапала, потому что приснилось загодя, что крысы рвут на части в колыбели ее кровиночку – маленького молочно-пухлого Степушку. Проснувшись с абсолютным убеждением: пойдет Степан на войну – не вернется, убьют.

И вот новая напасть. После кровавого сна, в котором она когтями рвала Петра, поселилось предчувствие горя, и было оно связано не только с Петром, но и с ней самой, стало быть – со всем семейством. Никаких видимых оснований для страшной беды не было, Анфиса гнала от себя тревогу. Но та оставалась на месте, будто мышонок, забравшийся за печь, – и не вытащить его, и сам убежать не может. Кыса лапой не достает до мышонка, рукояткой ухвата как ни тычь, не подцепишь. Пищит и пищит маленькое животное, беду кликает...

Идет Анфиса по селу, полной грудью вдыхает чистый до голубой струистости весенний воздух. Ступает важно – спасибо мужу (его бы умения да на пользу семьи!), подошвы сапожек не скользят на склонах. Одета она подобающе, почет ей выказывают заслуженный...

А вредный мышонок из темного уголка скребет мелко лапками: «Последний раз прогуливаешься важной павой! Больше не повторится!»

«Цыть!» – мысленно приказывает Анфиса.

Угроз она не боится и не переносит. Пусть и кто важный ей вздумает грозить – получит такой отпор, что за десять верст потом будет Анфису обходить. Анфиса может наорать так, что уши заложит, может безмолвием своим до трясучки довести, может злым шепотом сердце наизнанку вывернуть.

Колчаковский офицер однажды перед ее носом маузером размахивал:

– Пристрелю!

– Стреляй! – шагнула к нему Анфиса. – В мать стреляй! Как в свою мать!

Она видела, что перед ней молокосос, гимназист, маменькин сыночек, хоть и при оружии...

А тут мышонок, бесовское отродье. Кипятком на него не плеснуть и мяса с крысомором не подкинуть. И к словам-интонациям он безучастный.

«Ну-ну! – пропищал мышонок. – Поглядим».

Почему-то на хохляцкий манер выговаривал: «Похлядим». Как Данилка Сорока, пакостник и выжига.

Нюрания, для которой хорошее настроение мамы было редким праздником, а мамина улыбка дороже любого подарка, хотя и носилась по улице туда-сюда, то опережая Анфису, то убегая назад по улице, болтая с приятелями, затевая с ними перегонки на скользких тропинках, чутко ловила изменения на материнском лице. Вроде бы мама добрая-добрая и такая спокойно-вежливая, как никогда. Но вдруг по маминому лицу хмурость пробегают, словно ей неможется или спорит с кем-то.

– Маменька, – набралась Нюрания смелости спросить, – чей-то тебя беспокоит?

Анфиса остановилась и строго посмотрела на дочь:

– Мне от тебя жалость не потребна! Нашлась сопля носу лекарь. И я не забыла, когда ты мне касторки при чужих людях предложила! – напомнила Анфиса, как дочка опозорила ее. – Все помню, мама не забывает!

Нюрания сникла и стала очень похожа на отца в тот момент, когда он бросает в печь деревяшки, над которыми долго трудился и которые, с точки зрения Анфисы, можно выгодно продать.

– Егоза, – смилостивилась Анфиса, улыбнувшись, – неча рожу кривить. Который дом Солдаткиных-то?

– Да вот же! – радостно откликнулась Нюрания, легко перескакивающая из печали в игривость. – Где забор завалился.

– Завалился, – пробурчала Анфиса, – хорош зятек! Теще ворота не сподобился поправить.

Ворчала она неискренне, для порядку. Анфису устраивало, что Степан к родовому гнезду жены не относится с хозяйским вниманием. Значит, не рассматривает как свое будущее жилище.

В гостях

Зашли в дом. Анфису кольнуло, что дочь бросилась на шею сватье здороваться:

– Тусенька!

Наталя Солдаткина и в девичестве была той же фамилии. Вышла замуж за коренного сибиряка, одной фамилии, но не родственника. Тех, кто роднился с переселенцами, пусть они хоть двадцать лет члены Общества, старожилы не одобряли. В этом Степану повезло – чистой сибирской крови жена досталась.

Наталя от рождения пташка веселая. Анфиса помнила ее в молодости – все щебечет, смеется, сказки рассказывает и руками перед собой затейливо крутит, поет сладко, пляшет на загляденье: руки точно крылья, стан гибкий, поворот головы лебединый. Солнечная девушка была, да и на закате не потухла, сумела сохранить огонек. Имя Наташа, Натаха никак не подходило солнечной девочке, и ее звали Тусей – от Натуся. С годами, однако, подрастающее поколение не стало ее величать тетей Тусей, обращались «тетя Наталя» или «Наталя Егоровна». Верное свидетельство уважения. У сибиряков на имена ухо чуткое. Саму Анфису никому не пришло бы в голову назвать тетей Фисой. В то же время сколько по селу теток Глашек и дядек Ванек ходит!

Наталя Егоровна, обнимая Нюраню, смотрела на Анфису извинительно: просила не ревновать, не судить строго дочь, которая бросается на шею чужой женщине и называет ее по-домашнему ласково на «ты».

– Набаловали тут мою девку, – сказала Анфиса, развязывая шаль.

Дала понять, что не одобряет такого обращения, но сейчас об этом речи вести не станет.

Самовар кипел с утра, в него подбрасывали угольки из печи, подливали воду, чтобы к приходу гости не замешкаться. На столе, покрытом вышитой скатертью, красовался парадный сервиз. На тарелочках угощение скромное, но достойное – пирожки с разными начинками и хворост, тонкий, маслом пропитанный до прозрачности, значит, хрустящий. В стеклянных графинчиках настойки – брусничная, клюквенная и двадцатитравная, от двадцати болезней. Накрыто на две персоны, детей за стол не посадили. Нюраня и Катя с Ваней затеяли какую-то игру, вначале тихую, но потом расшумелись, и на них прикрикнули. Дети попросились на

улицу. Наталья Егоровна вопросительно посмотрела на сватью, словно та кроме своей дочери и Солдаткиными распорядилась.

– Бегите, – позволила Анфиса Ивановна, – но чтоб в замки свои не совались!

Ребятишки, знавшие только убранство избы и церкви, зимой выкапывали в снегу «замки», в которых сооружали столы, лавки, печи. Детская фантазия превращала эти пещеры в королевские залы.

– Правильно, Анфисушка, – одобрила Наталья Егоровна. – Не ровен час обвалится их замок, засыплет ребятишек. Как Ваську Просвитуна засыпало.

Ваську в замке засыпало, и откопали уже мертвого, задохнувшегося, лет сорок назад. Но это значения не имело. Важные события, как и факты биографий, срока давности не имели и могли пересказываться десятки раз. Собеседники задавали друг другу вопросы, на которые прекрасно знали ответы, – спрашивали, чтобы снова и снова выслушать с интересом стародавнюю историю.

– Кажись, Васькина сестра Марья не убереглась до свадьбы, так их родителям хомуты на шею накинули?

– Им, бедным, Анфисушка. Ох, жестокие были обычаи!

Если девушка не сохраняла чистоты до свадьбы и тому имелись точные данные, на второй день ехали к дому ее родителей на лошадях, увешанных пустыми ведрами, подносили вино в дырявой посуде и набрасывали на шеи родителей хомуты – как позорное наказание за то, что не берегли дочь.

У Марьи Просвитуной давно были взрослые внуки, старшего из которых убили на Гражданской войне. Но дурная слава жила, и растворить ее не могли даже современные вольные греховные нравы.

– Каждому обычаю свое время, – наставительно говорила Анфиса и шумно прихлебывала чай из блюдца, запивая рюмку крепчайшей настойки. – Это как седло коню. Ежели он бегунец, то под седлом учат скакать, а тягловой лошади сбруя бегунца только вредная. Помнишь, какие бега раньше были? Мой батюшка очень бега уважал. Рысаков, иноходцев, бегунцов по десятку держал, самолично следил за разведением. Был у него гнедой мерин Алмаз, всегда на бегах, хоть на пять верст, хоть на пятнадцать, первым был. Отец Алмаза нежил и лелеял, каждодневно на пробежки выводил. Когда о бегах сговаривались, легкие седоки, мальчишки-подростки, гурьбой к отцу валили, просились на выучку, чтобы на Алмазе скакать. Отец строго отбирал, без родственности.

Наталья Егоровна не забывала подливать чай и настойки, которые

Анфиса Ивановна все и не по разу отпробовала. Разговорила – вспоминала бега, которые обычно устраивали зимой, на Масленицу. Смотреть высыпала вся деревня, да из окрестных сел приезжало много народа, на облюбованных бегунцов делались заклады. Вдоль размеченного пути выставляли охранников, чтобы случайные проезжие не помешали участникам бегов. Хозяин бегунца-победителя получал заклады. Батюшка Анфисы Ивановны после побед Алмаза расчувствовался, целовал коня, одаривал мальчишку-наездника, приглашал всех на застолье, которое обходилось гораздо дороже выигрыша.

Анфиса на секунду замолчала, шумно выдохнув после очередной рюмки.

Наталья, чтобы разговору не прерываться, подхватила:

– А Осип Мазурин чего натворил-то? Денег у него на заклад не было, отдал в залог быка-производителя.

– И проиграл его! Батюшке моему бык перешел.

– А потом... – замялась Наталья Егоровна.

– Уступил батюшка быка. Но не Алмаз тогда бежал, нового бегунца батюшка опробовал.

– Еще несколько раз бык из рук в руки переходил, народ заклады как с ума сошедший повышал. А в итоге-то? Запомновала... – ненатурально, но к месту притворилась Наталья Егоровна.

– Алмаз приз взял. Кто ж еще!

Если бы не было глупостью полагать, будто животное может тебя чему-то научить, то Анфиса признала бы, что брала когда-то пример с Алмаза. Она не лелеяла мерина так, как батюшка, не угощала морковкой или соленой краюшкой хлеба. Анфиса к нему присматривалась и внимательно слушала рассказы батюшки. Один раз пробежит Алмаз по дорожке, запомнит все вмятины и второй раз в ямку уже не наступит. Алмаз – победитель по нраву-характеру, он живет, чтобы быть первым, на другую участь не согласный.

Когда мерин занемог, упал в сеннике, дышал мелко и тяжело, из глаз его огромно-карих катились слезы, отец Анфисы бухнулся на колени рядом и не стыдился своих рыданий. Мать Анфисы, которая лучше любого ветеринара лечила скотину, имела с животными непонятную связь, могла бешеного быка приструнить и ноги ему веревкой скрутить, оттащила мужа от умирающего коня со словами:

– Ничего, Иван, не поделать! Поел Алмазушка на выгоне худой травы.

Спустя время призналась дочери, открыла правду:

– Отравили Алмаза завистники. Я-то, дура, проглядела и опоздала лечить нашего героя. Да и было на лечение час-два. А мы-то на сев уехали. Вот, Анфисушка, мотай на память: не любят первых и победителей, зависть редко кто превозможет, зависть – к греху легкий путь. Если ты первая да лучшая, внимания не теряй, обязательно найдется злыдня, чтоб тебя изничтожить.

– Ты знаешь, кто Алмаза убил? – воскликнула Анфиса.

– Тебе одно говоришь, а ты слышишь другое. – Мать развернулась и ушла в куть, тихо бурча и крестясь: – Знаешь, не знаешь... плодить зло... нахлебается эта девка... Господи, защити мою дочь неразумную!

Мама всегда держалась в тени отца – шумного, сметливого, прижимистого и доброго, косного и вольнодумного, упрямого и бесшабашного – противоречивого, главного без оговорок в хозяйстве. Папы было так много, что маме оставались краешки. Анфиса так и не поняла свою мать, которая с «краешков» то ловко управляла отцом в незначительных ситуациях, то хранила молчание в жизненно важных, вроде заклада племенного стада под капитал, который позволит мельницу построить и через пять лет (возможно!) даст большую прибыль. Анфиса чувствовала, что мать ее не любит. Оберегает, балует нарядами и украшениями, но не тетёшкается, как с братом и сестрой. Мама от Анфисы отстранялась: говорю тебе, как надо, а если не слушаешь, то будь сама своим умом. Сестре и брату своим умом мама не позволяла существовать. И был папа, для которого Анфиса – любимица, принцесса, царь-девица. Сестра и брат, пока малолетками были, на отце висли, такого же внимания добивались, потом Анфисино первенство без условий приняли. Мамина, конечно, заслуга, что зависти среди детей не допустила.

Анфиса так не смогла: всякому видно, что Степан для нее главнейший, Петр попутный, а Нюраня – как телочка племенная, надо вырастить здоровой и крепкой, но не для себя, не для фамилии, а для будущего мужа – стороннего рода продолжения.

Анфиса редко вспоминала родителей. А теперь нахлынуло. Говорила с Натальей про бега, но отдельными видениями крутились картинки про маму с папой. Сейчас бы сказала: «Истово любили они друг друга!» Раньше, девчонкой, не понимала, почему они в свободную минутку в спальню убегают. Им, детям, пряники или леденцы сунут, а сами за дверь. Когда папа приезжал после отлучки, работники коней распрягали, поклажу вынимали, мама на крыльце стояла, дети козлятами скакали – раздачи подарков ждали. Анфиса тоже скакала, однако, в отличие от брата и сестры, улавливала, что родителей с их переживаниями точно потряхивает от какого-то

нетерпения. Мужа Анфисы Ерему, когда он с работ отхожих возвращался домой, никогда не потряхивало. Она же сама не из тех, кто первой задрожит.

Анфиса рано налилась – выросла, грудью сформировалась, в пятнадцать лет выглядела на восемнадцать. И воля Анфисина требовала выхода. Мать оказалась лучшим объектом для практики. Она даже хотела отправить ее, Анфису, на год в скит монашек, вроде как перебеситься. Не тут-то было! Батюшка-заступник имеется!

Анфиса часто ссорилась с матерью по любому поводу, вроде заплетания кос: в одну косу ходили девушки, а замужние женщины две косы под платом носили, на свадьбе был обряд – невесте волосы распускали и в две косы укладывали. Анфиса же удумала свои густые смоляные волосы заплести в две косы и вокруг ушей бараньими рогами уложить. Мать на пороге стояла – не пускала с такой прической на супрядки.

Дочь руки в боки, сиськами крутит, мониста туда-сюда играют:

– Шо ты мне сделаешь? Меня батюшка заругает, но не побьет, если тебя столкну!

– Анфиса, одумайся!

– Сама не без греха! – сверлила Анфиса мать злыми черными турки́нскими глазами. – Тебе скотина милее человеков. Давесь три дня колдовала над хромым цыпленком. У нас их пять десятков! Телушку больную надо было прирезать, чтоб хоть мясо было, а ты не дала! Вылечила? Ха-ха!

Мама дернулась, как от удара, один раз, потом второй... Анфиса все перечисляла мамины проступки – и поняла в тот момент, что надо бить по самому больному. Нащупать у человека слабое место и лупить в цель.

Мама отошла в сторону, освобождая проем двери, которую Анфиса распахнула пинком, и гордо вышла.

На супрядки она так и не отправилась. Косы в рога заплетала, чтобы маму позлить, а не для того, чтобы над ней, Анфисой, потешались. Сидела за околицей и плакала. Сама не знала, о чем плакала. О том, что выросла раньше срока и буйство непонятное изнутри одолевает? О том, что мама ее не любит? О том, что не находит приложения своим силам огромным? От того, что хочется любить, а любить некого? От того, что батюшка с матушкой умрут, так и не оценив, какую замечательную дочь родили? Плакать было приятно. Опять-таки испробовать разные состояния. Соседка, тетка Алена, когда ее сыновья и муж в бане угорели, рвала на груди одежу, каталась по земле и выла страшно. Анфиса тоже стала

кататься с причитаниями...

– Девка, ты чё?

Старик Майданцев – откуда только взялся? – вылутился на нее:

– Ссильничал кто? Из переселенцев? Ты скажи, мы его всем Обчеством накажем... А на голове-то у тебя волосья накрутили, изверги! Ты чья? Турка, кажись?

– Идите, дедушка, своей дорогой! – Анфиса споро засемила на четвереньках. – Я сама из переселенцев, – легко соврала она. – Молчите, Христа ради, вы меня не видели, пожалуйста! – Поднялась на ноги и рванула в лесок.

Отдышавшись, поругала себя: нельзя истинным чувствам волю давать – всегда найдется свидетель и толкователь. А толковать события надо, как ей, Анфисе, угодно.

Мама и папа умерли тихо и благородно, даже несколько сказочно. Недаром говорится, что за праведную жизнь Господь дарует благостную смерть – отхождение в другой мир.

Шла уборка конопли. Анфиса была уже замужняя и тяжелая первой беременностью – как потом оказалось, нежизнеспособными девочками-близняшками. Мама командовала работниками, Анфиса помогала. Вдруг прискакал папа, кулем свалился с лошади, заковылял к жене, кособочась, на согнутых в коленях ногах, жалуясь на нестерпимую боль в груди и в левой руке. Мама батюшку подхватила и увела в рощицу березовую... Там их потом и нашли: лежали обнявшись. Папа на спине, мама к нему прильнула, на плечо голову положила, руками переплелись, как спеленались...

От разговора о бегах перешли к кулачным боям, которые устраивались на престольные праздники и во время ярмарок.

Анфиса вспомнила Порфирия, мужа Туси:

– Драчун он у тебя был. Недаром Отважником прозвали.

– Ну, да, – задумчиво кивнула Туся. – К тридцати годам половину зубов потерял в драках, после каждой ярмарки – краше некуда: лицо в синяках, голова пробитая перевязана. Только, знаешь, Анфиса... – Туся вдруг решила поведать то, о чем никогда и никому не рассказывала. – Порфирий по характеру был добр и покладист, даже под хмелем не буянил, свинью забить или петуху голову отрубить – не допросишься. Он боялся...

– Чего? – не поняла Анфиса.

– Кабы люди не подумали, что он трус. И перед собой чтоб не стыдно было. Вот и бросался первым в драку. Глаза закрывает и молотит руками. И на войне, наверное, потому скоро погиб. Побегал раньше других под пули

да на штыки.

– О как! – удивилась Анфиса. – Только, может, среди отважных и есть большинство таких, как твой Порфирий.

Воспоминания о муже не вызвали у Туси печали, хотя обычно она пускала слезу, рассказывая о дорогом Порфириюшке. Слишком уж необычно и непривычно было вести простую бабью беседу с Анфисой. И хотя мягкость и откровенность Анфисы могли быть вызваны настойками, крепость которых не растворили шесть чашек чая, выпитые сватьей, Туся испытывала гордость за оказанное такой важной персоной доверие.

– Царство небесное! – перекрестилась Анфиса, как бы подводя итог и Натальиному рассказу о муже, и собственным неожиданным покаянным воспоминаниям о родителях.

Дальше она заговорила о деле. Солдаткиным традиционно принадлежали два дальних угодья отличной земли. Туся поднять эту землю и мечтать не могла. Анфиса предлагала не отказываться от наделов, то есть с приездом землемеров оставить угодья за собой. Анфисино семейство поможет. Но за половину урожая.

Наталья вспыхнула от радости. Цена, запрошенная сватьей, была божеской, да и вовсе не цена, а подаяние, ведь работников Наталья предоставить не могла. Однако оставались сомнения.

– Анфисушка, а когда подсчитают, мол, столько-то за мной пахоты, столько-то должно быть урожаю...

– Подсчитают, сколько в амбарах, с этого налог отдашь, и еще себе на перезимовку с лихвой останется. А что на полях выросло да куда делось, того никому не проведать. И вот еще, Нат... Тусенька! – мягко продолжила Анфиса, но пальцем грозно потыкала сватье в нос. – Про наш сговор ни гугу! Ни сестре своей балаболке, ни зятю, сыну моему Степану, ни одной живой душе!

– Ни в жисть! – Туся захлопнула рот ладошками и вытаращила глаза, изо всех сил стараясь показать свою преданность. – А чего говорить-то? – прошепелявила она сквозь пальцы.

– Родственная помощь, и весь сказ. Хорошо покалякали, – поднялась Анфиса, – душой отдохнули. Приятно у тебя в доме, Наталья.

Услышать похвалу от известной чистотки Анфисы было в высшей степени лестно.

– Так мы ж не хохлы какие-то, – быстро говорила польщенная, раскрасневшаяся Наталья, пока Анфиса надевала душегрею и повязывала шаль. – Это в Расее, говорят, хохлы и малороссы славятся своей чистотой, а по сибирским меркам...

Она оборвалась на полуслове и задохнулась на полувыдохе, потому что Анфиса, застегнув душегрею, слегка наклонилась и трижды расцеловалась на прощание. Обычно Анфиса лобызаний не приветствовала.

Смеркалось, и обратный путь в горку давался Анфисе труднее. Спасибо, хоть никто из баб теперь не выскакивал из дома, чтобы донимать ее глупыми разговорами и вопросами. Она забыла у сватьи сходить на двор, и теперь в переполненном нутре плясали сабли. А еще надо к Майданцевым зайти, грызь Максимкину полечить. Чужой порог переступить и с ходу до ветру на задний двор попроситься – лицо потерять. Надо где-то в закоулочке нужду справить.

Задрав юбки, Анфиса присела у чужого забора. Вставая, поскользнулась и шлепнулась грузным задом в канавку, пробила корку свежесхватившегося льда, изгваздалась. Но не рассвирепела, а захихикала – по-детски, как уж давно не сотрясалась глупым смехом. Вертелась, руками-ногами швыряла, из канавки выбиралась и не могла унять сдавленных «хо-хо-хо!», «ну, мать твою ити!», «хи-хи-хи!», «туша, зад наела», «что ж это...», «помереть от потехи...».

Вот ведь старая дура! А кто увидит, что она, точно вусмерть пьяная пропащая баба или свинья-животное с чесоткой под брюхом, в грязи кувyrкается? Пусть видят! Судороги смеха не давали Анфисе встать на ноги. Выбралась из канавки, на четвереньках стояла, а смех прибывал голову к земле – к грязной снежно-глиняной жиже.

Анфиса говорила сама с собой. Одна Анфиса – правильная, возрастная, пятидесяти трех годов, царица-несмеяна. А вторая, откуда ни возмись, такая смеяна, хуже Нюрани-дочки. Той мизинчик скрюченный покажи – хохочет.

«Быстро вставай! Стыдись! – крутила головой из стороны в сторону Анфиса правильная. – Кабы кто не увидел! Как тогда старик Майданцев, от которого ты, косматая, в лесок удирала».

«Кабы-перекабы, а у вас во рту грибы! – дурачилась новоявленная Анфиса-пересмешница. – Второй раз такое забавное со мной случилось. Можно напоследок и подурачиться!»

«Напоследок! – пискнул злорадно мышонок-предчувствие. – Сама знаешь, что недолго тебе осталось...»

«Заткнись!!!» – хором гаркнули обе Анфисы.

«Стоишь на четвереньках, точно бычок недоношенный, которого подкосило в коленях, – торопливо увещевала Анфиса правильная. – Тебе из

этого положения не встать на ноги, Вались на бок, подгребай правые руку и ногу. Опирайся ими. Выжимай себя в стоячее положение. Разжирела ты, матушка!»

«А мне и вот этак приятненько, – пьяно бормотала Анфиса-пересмешница. – Хочу – на четверых ногах раком, хочу – к небу пузом! Никто мне не указ! Хватит твоих, – это к Анфисе-правильной, – декретов!»

Степушка, сыночек, после свержения царя глазами пылал: «Декрет о мире! Декрет о земле!» Мир у Анфисы и у ее родителей всегда был, и земли хватало. При желании распахали бы до Ледовитого океана. Батюшка говорил, что боятся сибирского хлеба в Европе и в Расее. Еще с германской войны ввели налог на сибирский хлеб. Говорили – Европа потребовала. Где она, Европа? Да и Расея мрет с голоду. Зато при декретах.

Стоя на четвереньках, не в силах подняться на ноги, смеясь неизвестно чему, Анфиса пережила минуты удивительного спокойствия и благодати.

Она плюхнулась задом на край канавки и быстро почувствовала, как юбки пропитываются холодной влагой, тело стынет.

«Ты еще застудишь!» – теряла терпение Анфиса-правильная.

«Все одно уже мокрая», – отвечала пересмешница.

Запрокинув голову, Анфиса смотрела на небо – черное до синевы, с яркими звездами-дырками, про которые Ерема в молодости рассказывал, будто там живут «вроде-человеки», возможно, многоногие и многоглазые, чешуйчатые или вовсе на гадюк похожие, но сердцем добрее нас.

Анфису его фантазии тогда злили. Какие гадюки на звездах, когда братец родной хочет мельницу батюшкину отхватить?

Сейчас же, поднимаясь на ноги безо всякого изящества, чертыхаясь, она бормотала:

– Да живите! Хоть гадюки, хоть упыри звездные. Только к нам не суйтесь, своих чертей хватает.

Подходя к дому Майданцевых, Анфиса уже сожалела о внезапном и унижительном приступе ребячьей слабости. Это все наливка Тусина! Вздумала сватья, окаянная душонка, напоить ее! А если Аксиныя спросит про грязный подол, Анфиса ответит в том смысле, что надо за воротами чистить, лед сбивать, если гостей зовешь.

Аксиныя не заметила или сделала вид, что не заметила изгвазданной одежды Анфисы. С поклоном встретила, чаю предложила. Анфиса отказалась – тороплюсь.

Она посоветовала Аксиные перетягивать живот внуку холщовым бинтом. Аксиныя это и сама знала, но кивала, точно в первый раз услышала. Не помогал бинт уже. Аксиныя даже научилась вправлять грызь

Максимушке. Обхватит пальцами мягкий, потрескивающе шуршащий бугорок и плавно его в нутро заталкивает, потом перевязывает. Надолго не хватало, проклятая грызь лезла наружу. Анфиса сказала, что нутрянной покров под кожей у Максимки разошелся так сильно, что никакие заговоры не помогут. Надо к доктору ехать и операцию делать. Доктор нутрянку зашьет, и забудет Максимка про лихую напасть. Аксинья недовольно скривилась – боялась операции и докторов.

– А последнего кормильца тебе потерять не страшно? – спросила Анфиса.

Аксинья протянула руку, разжала кулак. На ладони лежало колечко с алым камешком рубиновым:

– Возьми, Анфиса, больше отблагодарить нечем.

Плата за пятиминутный визит была несоразмерно щедрой. Тем более, что все прекрасно знали: Анфиса благодарностей не берет. Аксинье хотелось показать свою гордость и независимость, точнее – их скудные остатки. Если бы Анфиса взяла колечко, Аксинье стало бы теплей на душе, но, с другой стороны, пошли бы слухи по деревне, что Анфиса наживается на чужом горе.

– Доктору отнеси, – усмехнулась Анфиса. – А еще лучше петуха зарежь, да яиц прихвати, муки, солонины. Они там, доктора, сейчас тоже зубы на полке держат. Есть у тебя или одолжить?

– Найду! – сверкнула глазами Аксинья, нелепо простоявшая с вытянутой рукой несколько секунд.

Уже одевшись, Анфиса вернулась в горенку, где на кровати лежал Максимка. Хотела удостовериться, что не подвело ее чутье.

Мальчишка был слаб, бледен, но зол. Губы куриной гузкой поджаты, брови насуплены, глаза блестят от непролитых сердитых слез. Хороший парнишка, породистый.

– Босяк! – шлепнула его по лбу Анфиса, к своему удовольствию почувствовавшая, что Максимке не грозит скорая смерть. – Наплачутся еще из-за тебя девки!

Часть вторая

Старатели

Прасковья не ложилась спать, дожидаясь мужа. При свете лучины штопала одежду. Керосин экономили, лампы ненадолго зажигали, только когда вся семья вечером собиралась в горнице. Степан точно не сказал, когда вернется. Может, еще на день-два задержится. Но если сегодня ночью воротится, ему будет приятно увидеть свет в окне их комнаты.

Услышав шум отпираемых ворот, Прасковья накинула шаль и выскочила на крыльцо. По тому, как скупно муж поздоровался с ней, не обняв, по тому, как распрягал лошадей, задавал им корм, Прасковья поняла, что Степан вернулся хмурым, не ладились у него дела, печалили.

Многое из того, о чем муж ей рассказывал, Прасковья не понимала, но для нее было важно, что Степан с ней делится своими горестями, что облегчает душу, доверяется. Его чувства были ценны для Прасковьи сами по себе, в мировой революции, пролетариате и коммунизме она не разбиралась. Зато всегда была готова радоваться и горевать вместе с ним, не вникая в недоступные дебри политики. И еще старалась растворить его печали рассказами о маленьких победах сельчан над нищенским бытием, об их добрых делах, о взаимопомощи. Не отдавая себе отчета, интуитивно чувствуя, как важна для Степана вера в людей, Прасковья поддерживала в нем и питала эту веру.

Одной из главных забот Степана была организация и поддержка сельскохозяйственных коммун и артелей. На вверенной ему территории было уже семь коммун и обществ по совместной обработке земли. Они носили громкие названия: «Красная Сибирь», «Восходящее солнце», «Полярная звезда», «Путь к счастью»... Прасковья, прослышав, что кто-то в артель собирается, радовалась и сообщала мужу. В то же время вступление собственной семьи в коммуну она считала глупостью и хозяйским безумием. Ведь в артелях одна беднота! Как ни тяжело старым сибирякам приходится, а идти в коммуну позорно. Единоличную психологию Степа клеймит, и Прасковья послушно кивает. Однако в глубине ее души живет впитавшееся с молоком матери стойкое убеждение: человек должен сам, своим трудом создавать свое счастье, а не надеяться на восходящее солнце или Полярную звезду.

Отдельной строкой – похвалы матери Степана. Прасковья никогда не жаловалась на строгую свекровь, но при любой возможности старалась донести до Степана, какая у него добрая и умная мама. Внешне отношения

Степана и Анфисы Ивановны были почти враждебными. Да и с отцом Степушка не ладил. Но если в отношениях с отцом чувствовалась пропасть, точно овраг, поросший непролазным лесом, или бурная река без переправы, то с матерью было иначе. Их подспудная связь была крепкой, пуповинной, с общим током крови, разрежь – и оба застрадают. Они, может быть, и сами были не рады этой связи, они ее зарыли под ворохом упреков и обвинений, они ссорились часто и не скупилась на выражения. Однако груда взаимных обид только надежнее защищала пуповину. Так на зиму утепляют растения – ветками еловыми забрасывают или из первого снега сугроб насыпают, чтобы мороз не побил. Страшен лютый холод, а под снегом растение выживает хорошо.

Ужинать Степан отказался. Чтобы не шуметь, Прасковья принесла тазик и кувшин с водой в их комнату. Поливала мужу, он мыл лицо и руки.

Заговорила, как вспыхнула, точно сил не было больше молчать:

– Степушка, известие радостное! Анфиса Ивановна пообещалась моей маме надел вспахать и засеять.

Подробностей сделки Прасковья, конечно, не знала и видела в поступке Анфисы Ивановны чистое благородство.

– Хорошо. – Степан вытерся поданным женой полотенцем.

– Не помрут мои теперь с голоду и христорадничать не придется!

– Хорошо, – повторил он устало.

– Мама твоя все-таки золотой души человек!

– Один большой слиток, не угрызешь и не унесешь.

– Как бы я хотела быть на нее похожей!

– Тогда б я на тебе ни в жисть не женился. Давай спать, скоро засветает.

Они легли на кровать и укрылись толстым шерстяным одеялом в лоскутном пододеяльнике. Прасковья повозилась, устраиваясь под боком у лежащего на спине мужа, затихла на минутку, глядя на его профиль, на крупный нос, вздернутый к потолку.

– Степушка! – принялась она гладить мужа по груди. – В чем твои кручины, сокол мой? Кто тебя запечалил?

Степан положил ладонь на плечо жены, легонько качнул, как бы благодаря за заботу.

– Данилку Сороку встретил. Ферт разодетый. Он теперь в ОГПУ... при немалой должности. Да и леший бы с ним, с Данилкой! Вадим Моисеевич... он для меня... он ведь особенный! Педагог настоящий!

– Кто?

– Учитель. У него и кличка партийная в подполье была – Учитель. Вот

как есть хороший плотник или сапожник, а Вадим Моисеевич – прирожденный учитель, талант у него уникальный, редкостный. Не токмо читать-писать голопузую ребянтю ему нескучно было учить, он еще мир открывал, отношения людские, взаимодействие разных экономических сил, которые с кондачка-то не раскумекать. Он очень добрый, птахи не обидит... а приказы подписывал, да и сейчас... кровавые. Говорит, добро должно быть с кулаками, а то и со штыком, с пулеметом... Сколько ж нам кулаками размахивать да из пулеметов поливать?

– Болеет он?

– Болеет, совсем высох, кашляет, на лице одни глаза остались. Мне раньше в его глазах всемирная доброта виделась, а сейчас... блеск... как у схимника.

– Журил он тебя?

– Ругал за недостатки. Это понятно... правильно. А больней всего, что смотрит на меня... ну, как вроде не оправдал его надежд. Данилку Сороку в пример ставил... это уж совсем... Ладно, переживем. Спи, мой соболенок, доброй ночи!

– Доброй ночи, ненаглядный!

Степан быстро уснул, а Прасковье не давали покоя толчки в животе. Ох, и буян там растет, день и ночь дрыгается. Наверное, будет в батюшку Порфирия. Мама рассказывала, что батюшка кулачные бои обожал.

– Погоди, родишься – надерешься, – поглаживая живот, тихо говорила Прасковья. – Допрежь неча материнские селезенки и печенки пинать. А ежели ты девка? Хватит танцы танцевать! Ишь, разгулялась! Мамина утроба тебе не супрядки. Или ты мою печаль учуяла? Что отец твой в кручине? Он не все мне говорит, без подробностей. Как вешки ставит – общий путь понятен, а между вешками-то его чувства-страдания...

Бормоча, разговаривая с ребенком, чье буйство уже давно она умирала поглаживаниями, и строгими окриками, и увещеваниями, а лучше всего действовало, если поплакаться и призвать к жалости (точно парень родится!), Прасковья забылась коротким тревожным сном. Но этот сон был счастливым, потому что для нее было только одно место счастья – на груди мужа.

Степан не стал рассказывать жене в подробностях про свою поездку в Омск, не только потому, что устал, хотел спать, но и потому, что Парасенька во многом не понимала его проблем и трудностей. Она живо откликалась на его речи, не вникая в их смысл. Она как могла старалась облегчить его тревоги. И в этом было большое счастье – в безрассудной женской вере. Мать тоже любила Степана истово, но рассудка у матери

было... на трех генералов хватит и еще фельдмаршалу достанется.

Он хорошо помнил, как, мальцом, хотел маме показать, какой он сильный большак, что она может им гордиться, что он – опора, тем более что отец вечно отсутствовал.

...Тяжело груженная мешками с зерном телега боком завалилась в канаву. Два работника встали по краям опрокинувшейся телеги, Степан между ними в серединку примостился и командовал: «Раз-два – взяли!» Его слушались – хоть и малец, а хозяйский сын. Он тужился изо всех сил, в глазах темнело, но выжать телегу даже втроем не могли. Тут мама откуда ни возмись. Зыркнула сердито, сначала Степану по уху заехала так, что улетел на два метра, потом на работников напустилась, орала, что они, мол, хотели ее наследника покалечить, хребет ему сорвать. У него половина лица саднила и кровоточила – проехался по оголенным корням сорных трав в канавке. Мама на кровь внимания не обратила, подхватила за грудки, и трясла, и обзывала обидными словами за то, что не сообразил сначала телегу разгрузить, а потом поднимать.

Так еще много раз было, когда Степан хотел ей свою любовь и преданность показать, а мама его дураком выставляла.

Хотел отца любить, а тот в редкие приезды смотрел с прищуром и говорил загадочно: «Елка летом просто растение. А зимой, снегом покрытая, на наряженную невесту похожая, – уже *произведение*. Создание! Творение! Понимаешь? Или вот лес осенний...» Степан не понимал. Лесов вокруг множество, они с детства присутствуют. А его, Степана, волнует, как с гоном животным справиться, когда каждая девка или даже баба замужняя вызывает такую круговерть в чреслах, что хоть руби свой мужской орган. Отец ждал ответов, у Степана их не было. Свои вопросы после *произведений* и *творений* задавать было бессмысленно.

Он выдюжил, справился. Нашел тропинку, вернее, вытоптал две тропинки – для мамы и для отца. Чтобы и рядом с ними, и, при всем к ним почете, отдельно.

От буйства в чреслах его, восемнадцатилетнего, спасла шестнадцатилетняя Катерина. Ее отдали замуж за хуторянина Вакулу. Тому было сто лет в обед (как теперь мог понимать Степан – лет пятьдесят). Вакула пострадал на войнах, в сундуке лежал его мундир и отдельно в бархатной красной тряпице с завязками – ордена и медали. Вакула ранами болел и жил на пенсию. Молодую жену взял для обихода домашнего – еду сготовить, постирать. Огородное хозяйство было скудным, пашни отсутствовали. Вакула был для жены точно старый больной отец, который хоть и жалеет дочь, но от себя на волю не отпустит.

До их хутора было десять верст. Степан навсегда запомнил бег по лесу, по пустоши, по бездорожью. Он несется на пределе сил, сотрясаемый и подпитываемый жаждой женского тела. В какой-то момент живот перепоясывала дикая боль, но ей нельзя было давать воли, падать и ртом шумно хватать воздух. Дальше! Превозмогая боль, бежать дальше! Когда тебя уж и нет, когда ты растворился в бешеном стуке крови в жилах, и глаза не видят, и уши не слышат, и распахнутый рот воздуха не захватывает... Выносишься на поляну перед домом... Она стоит на крыльце, ждет... давно, наверное, ждет, с позавчера... Ты умирал, минуту назад с жизнью прощался. И вдруг силы откуда-то взялись, хватаешь ее на руки и несешь в сенник – в пристроенный к дому навес без стен...

Они говорили мало, телом молодым буйствовали. Если словом перемолвились, то это слово было не про будущую жизнь, а попутное: «... дождь собирается, спешить тебе надо, еще придешь?» – «Если жив буду, одна ты у меня отрада». – «А ты у меня спасение...»

Их связь длилась два года и оборвалась, когда началась первая война, – не та, что с японцами, на ту омичей не забирали, а в четырнадцатом году, империалистическая. Степан со старателями в тайгу ушел, и на хуторе довелось ему побывать во время подавления Восстания. Дом Катерины и ветерана сгорел. У дома не было привычных глазу сибиряков строений – подворий, риг, заднего двора, поэтому одинокая печь, побеленная, но со следами копоти, торчавшая среди головешек, смотрелась как указующий перст. Бойцы из отряда Степана застыли, каждому эта картина свое навевала. А Степан думал о том, что сгинула, сгорела-погибла его первая женщина, оставив о себе как напоминание печь побеленную, сажей закопченную.

Мать знала о его побежках на хутор. Могла бы промолчать, но говорила с понятливостью, с укором-разрешением:

– Гроза идет, захвати накид. А то бы и на лошади отправился. Чего ноги мять?

В эти минуты Степан мать остро ненавидел. Она знала, что ненавидел. И он был бессилен не перед собственной ненавистью, а перед ее материнской понятливостью.

Спасибо Катерине, Вадиму Моисеевичу и собственным размышлениям – Степан сумел-таки картину мира выстроить и свое в нем местонахождение найти. Грянула империалистическая война, которая его обрадовала, на которую его должны были забрать, представив жизнь, отличную от домашней рутинной, приключенчески интересную.

Но мать опять его сломала. Стояла перед ним на коленях и когтями

драла свое лицо, истово, без притворства, меж пальцев кровь текла.

– Степушка, не уходи! Христом Богом, моей жизнью, чревом, которое тебя выносило... Погибнешь, мой единственный! Ты надежда для всего рода! Ты миру нашему надежда...

Он перепугался, брякнул:

– Ладно, мама, ладно! – Поднял ее, ватно-бессильную, с пола и на лавку усадил.

– Обещаешь? Клянешься? – твердила мама, и слезы на ее щеках смешивались с кровью. – Поклянись самым святым!

– Тобой клянусь. Ты для меня святее всех святых.

С артелью шишкобоев и охотников Степан ушел в тайгу на три года. Это были суровые люди, похожие на монахов в том смысле, что отказались от обычной мирской жизни, которая пришлась им не по нраву. Только вместо молитв и служб у них был тяжелый, часто опасный мужской труд и большой азарт в сражениях со зверем. Маршрут их передвижений по тайге представлял собой сложный геометрический рисунок из прямых, овалов и ломаных кривых в сторону населенных пунктов, где сдавали добычу. В точках пересечения находились избы-зимовки, карту держали в голове два человека – старший артели Савелий и его заместитель Лёха. Еще в артели были четыре тридцатилетних мужика – тупые, сильные, с телячьей детской покорностью и воловьим безрассудным упорством: если не остановишь, будут топтать и топтать по лесу, если не крикнешь: «Слезай, шабаш!» – всю ночь на дереве просидят, шишки околачивая. Савелий – лесной человек, для него родина – тайга, а в человеческом жилье он задыхался. Лёха – сын богатого крестьянина, тысячника, проклятие семьи, паршивая овца. Не пьяница и не разбойник – бродяга. Даже в ремесленном училище немного поучился, пока не сбежал к рыбакам дальних промыслов. Признавал он только один ритм жизни: несколько месяцев вкалывать как проклятый, потом все заработанное шумно прогулять. Снова уйти (в плавание или со старателями), разбогатеть и снова спустить все.

Степана в артель взяли только потому, что мать Савелию и Лехе по прекрасному ружью подарила. Окажись Степа обузой-слабаком, бросили бы в каком-нибудь селе после первого же маршрута. В артели нянек и докторов нет, неспособному с первого раза запомнить правила безопасности и уловки надсмотрщика не приставишь, и тащить много верст до человеческого жилья покалеченного маменькиного сынка, который забыл застраховаться на дереве, полетел вниз, поломал все кости и хребтину, артели не улыбается. Тем более, что этот нюхля двух метров

росту и шесть пудов весу. То, что от него хотят избавиться, Степан почувствовал сразу. В артели много общего, но оно состоит из частного, которое обязано соответствовать требованиям.

Лёха говорил:

– Мы от тебя ничего не требуем. Ты требования сам должен усекать.

Степана злость взяла: нигде он не нужный! На войне не нужный, потому что маму послушался, в артели не нужный, потому что неумеха. И пожалуйста! Хотел в первом же селении сбежать и в армию отправиться. Но на трехмесячном маршруте не мог в сторонке прохоложиваться, втянулся в работу, а коль стал что-то делать, гордость заставляла делать это не хуже других, учиться требованиям соответствовать.

На первой сдаче кедрача Савелий ему сказал:

– В деревне две солдатки есть, рупь с полтиной или полмешка шишек. Мы тебя первым в очереди к бабам можем пустить.

Кедровые орехи, как в Расеи подсолнечные семечки, в Сибири были главным лакомством. И полмешка – очень щедрая плата шлюхам.

– Без надобности!

– Как скажешь, завтра до света выходим, не проспй.

Так состоялось его принятие в артель. К бабам не пошел и почему-то не сбежал в армию. Уважение артельщиков, дремучих мужиков, вонявших лесной землей даже после бани, загадочным образом пересилило.

Поначалу Степана дразнили Капиталом, потому что он всегда носил в заплечном мешке увесистый, подаренный Вадимом Моисеевичем «Капитал» Маркса и тоненький «Манифест Коммунистической партии» авторства Маркса и Энгельса.

– Ему капитал не нужен, – скалился Лёха, – он уже его заимел.

Шутки артельщиков были грубы и плоски.

– Эта книга, – повторял Степан слова Вадима Моисеевича, – перевернула мир на много столетий вперед.

– Чёй-то не видел я кедров корнями кверху перевернутыми, – ржал один из тупомозглых артельщиков.

– Пусть читат, – говорил Савелий.

И Степан читал «Капитал» при свете коптилки, под разноголосый храп товарищей. Заставлял себя читать, безуспешно вникая в мудреные фразы. Устав за день так, что слова в книжке двоились и смысл их ускользал, Степан заставлял глаза двигаться по строчкам, губы – шептать прочитанное... и оно усыпляло, хоть тресни усыпляло.

Савелий вставал, задувал коптилку, бил Степана в бок:

– Ложись, Капитал, неча харей в стол дрыхнуть, завтра костей не

расправишь.

Первые тридцать страниц «Капитала» были замусолены – Степан их перечитывал каждый раз заново, но дальше так и не продвинулся.

Потом он стал д'Артаньяном.

В сельских лавках и в концессиях, куда артель сдавала кедровые шишки и звериные шкуры, книги не водились. Но одной из факторий владел купец – заядлый книголюб. Он помер, а наследники литературой не интересовались и продали Степану всю библиотеку за песцовую шкурку. Вкусы покойного книголюбца были разнообразны: от сонников, гадальных книжек и наставлений молодым людям по галантному обхождению до любовных и приключенческих романов с витиеватыми названиями вроде «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка умирает на гробе своего мужа», «Ночь у сатаны», «Мертвые без гроба», «Приключения аглинского милорда Георга и маркиграфини Фридерики-Луизы»...

В непогоду, когда вьюги свирепствовали или дожди лили сплошным потоком и нельзя было носа с зимовья высунуть, старатели читали вслух. Таскать лишний груз в кочевье по тайге было глупо, поэтому прочитанные книги оставляли на зимовках. Вместе со спичками, солью, чаем, порохом, дровами, растопкой, как того требовал неписанный закон таежного братства. Участь быть оставленными и скорее всего драными на самокрутки постигла и романы Фенимора Купера, который сочинял про индейцев и бледнолицых. У промысловиков имелись свои «индейцы» – сибирские татары, киргиз-кайсаки, они же казахи, и отношения с ними, хотя и были недружественно мирными, нисколько не напоминали кровавую резню на американском континенте. Случаев, когда бы дрались с нехристями или до стрельбы дело доходило, никто не помнил. Помощь друг другу старатели оказывали без оглядки на вероисповедание или национальность. Татарин не бросил бы раненого замерзающего русского, а тот в свою очередь помог бы казашке, чей муж погиб на охоте, добраться вместе с детьми и скарбом до соседнего стойбища. Браки между нехристями и православными случались крайне редко, да и в целом их быт, образ жизни, привычки, ритуалы и обычаи были настолько несхожи, что взаимного проникновения не происходило. И хотя мирное сосуществование покоилось на странной смеси презрения и уважения, эта основа была достаточно крепкой, веками проверенной и казалась единственно возможной, поэтому сочинения Купера – вранье от первого до последнего слова.

Единственной оставшейся в артели книгой, абсолютным фаворитом стали «Три мушкетера» Дюма. Как пояснил образованный Лёха, это был не перевод романа, а упрощенный пересказ. Настоящую книгу, переведенную

с французского на русский, Лёха читал и перечитывал еще в ремесленном училище.

– Там много всякой мути непонятной, – говорил Лёха, – однако все ж таки захватывало. Драки, бабы, кони, погони – вот это жизнь! Не то что у батюшки с его анбарами и мельницами.

Лёха и таскал в заплечном мешке «Мушкетеров», он же читал вслух по вечерам, торопливо бубня в местах описаний и актерствуя, когда начинались разговоры, то понижая голос до зловещего шепота, то повышая до противного визга. За три года роман Дюма перечитали, наверное, раз двадцать, наизусть выучили многие куски, однако не надоедало слушать снова и снова. И если при первом прочтении, несмотря на упрощение, не понимали многого, то при последующих неясного становилось все меньше и меньше. Отчасти благодаря Лёхиным толкованиям, отчасти благодаря фантазии, которая пробудилась даже у тупых промысловиков. Франция семнадцатого века, двор Людовика Тринадцатого, мушкетеры, гвардейцы кардинала – все это было не просто далеко от того, что они видели, знали, что могли бы допустить, это было за пределами их воображения. Как сказка, но одновременно сказка не волшебная про змеев горынычей и кощеев, а такая, что при известном допущении накладывается на их жизнь и опыт.

– Была у меня одна краля, – мечтательно вспоминал Савелий. – Стерва! Ух, стерва! Чисто Миледи.

– А у нас в деревне купец жил, – подхватывал один из артельщиков, – гнида, как Ришелье. Всё с крестным знаменем, со словом Божьим, а сколько на него ни работаешь, все больше должным становишься. Кровопивец!

Отношение артельщиков к трем мушкетерам было своеобразным: Атоса уважали, потому что он старший и бывалый, Арамису сдержанно прощали его религиозную придурь за бойцовскую доблесть, а Портоса единодушно обожали, так же как и его слугу, пройдоху Мушкетона. Душевные муки Анны Австрийской были непонятны, да и поступки казались глупыми – то подарила подвески, то обратно требует, могла бы герцогу Бэкингему колечко на память дать, всяко приятнее: на палец надел и поглядывай. А на кой ему подвески? Они долго спорили, что такое «подвески». Лёха сначала уверял, что у городских баб такие есть, но по-нашему – подтяжки, на ноги выше колена цепляются, чтобы чулки держать. Потом оказалось, что подвески где-то на платье вешаются, ведь король и кардинал их во время бала на королеве пересчитывали. Королева вызывала почтение, потому что Австрийская, а ружья австрийские были одними из

лучших. Словечки из «Трех мушкетеров» незаметно вошли в их разговорную речь и прижились. Рубли, например, стали называть пистоллями.

Лёха однажды поругался с купцом, дававшим низкую цену, тряс связкой песцовых шкур:

– За них и по двадцать пистолей – дешевизна!

– Сдурел?! – возмутился купец. – Два десятка револьверов за лису! Тебе такие цены приснились!

Когда охотники стреляли неметко, портили шкурку, попадая зверю в живот или в спину, Савелий орал:

– Тут вам не Мерлезонский балет, ити вашу через коромысло!

Когда в очередной раз Лёха принимался читать вслух «Трех мушкетеров», подвывал и поскуливал, артельщики в нарочитых паузах подсказывали следующие реплики в диалогах, Степан затыкал уши пальцами и пытался штудировать «Капитал». Но невольно отвлекался, ожидая услышать про свою втайне любимую героиню. Ею была госпожа Бонасье, которая представлялась Степану в образе Катерины. Сходство было налицо: вышла замуж за нелюбимого старика, встретила свою судьбу – д'Артаньяна, то бишь Степана. Спустя несколько лет, узнав о гибели Катерины, Степан подумает о том, насколько страшнее и мучительней была смерть реальной Катерины по сравнению с выдуманной Констанцией Бонасье, которая испустила дух на руках любимого человека.

Д'Артаньяном его прозвали с легкой руки Лехи.

Степан сидел на кедре на двадцатиметровой высоте, шлепнул себя по шее, прогоняя комара, потерял равновесие и полетел вниз. Страховочные веревки оборвались, «когти» (приспособления, которые надевают на ноги для лазания по стволам) выдернулись. Повезло, что не хряпнулся на землю. Не повезло, что сук, на котором повис, был далеко от других веток. Тихо руками-ногами подрыгал – не достать. Сильнее раскачиваться было опасно.

Лёха, собиравший шишки на земле, задрал голову:

– Висишь, д'Артаньян хренов?

– Висю.

– «Назовите мне того негодяя, который осмелился вызвать слезы на этих прекрасных глазах!» – завопил Лёха дурным голосом слова д'Артаньяна из разговора с Миледи.

– Лёха, сук трещит!

– Не, это не по книжке, – помотал головой Лёха, надевая «когти». – «Такие женщины, как я...» – подсказал он.

– «“Такие женщины, как я, не плачут”, – сказала миледи». Лёха, я сейчас навернусь!

– «Он заключил ее в объятия», – куражился Лёха, поднимаясь по двухметровой толщины стволу, передвигая после каждого шага вверх страховочный пояс. – «Она не сделала попытки уклониться от его поцелуя, но и не ответила на него. Губы ее были холодны: д’Артаньяну показалось, что он поцеловал статую».

– Я тебя поцелую, – пообещал Степан, – на земле.

– «“Ах!” – вскричал мушкетер, словно в сердце ему попала пуля».

Лёха и потом часто щеголял фразами из «Трех мушкетеров», ставя людей в тупик, называя барышника герцогом Орлеанским или подмигивая продажной девке:

– За ваше бесчестье, сударыня, будет заплачено кровью! А пока я вам могу предложить только два пистоля.

К семнадцатому году, когда царя свергли, Степан настолько втянулся в старательскую жизнь – тяжелую, но понятную, однообразную и в то же время неповторяющуюся, в этот сродни крестьянскому труд, что уже подумывал навсегда остаться в таежной артели. Мысли-мечты о мировой революции отошли. Тайга – это тоже мир. Он менялся с непреклонной климатической цикличностью. Абсолютная нерушимость законов природы вселяла уверенность в возможности их познания, если не полного, то значительного. Человек чувствует себя уверенно, когда есть высшая воля: Бога или природы – то, на что можно опереться без оглядки. А в людском обществе все зыбко, сложно, мозги ломаешь, даже когда тебе умные люди вроде Карла Маркса в книгах объясняют. В тайге ты зависишь от себя – своих физических сил и сметки, зоркости, наблюдательности, умения тихо ждать зверя в засаде и быстрой реакции, прицельного выстрела, когда он выйдет на линию огня. Ты совершаешь промахи, ошибки, но и победы одерживаешь, ты сам себеставляешь оценку, а в большом людском обществе оценщик – каждый и всякий.

Если бы не мечты о мадамах Бонасье! Не мог Степан с продажными бабами, воротило его. Душа и тело в разладе жили: тело хотело, и сладу с ним не было, а душа плевалась, горечью харкала.

Обратно домой Степана выдернула мать. В артель затолкнула и назад воротила – все мамочка родная. Послала Савелию весточку: к Покрову быть у меня. А сыну-большаку не написала, точно он не самостоятельный мужчина, а при няньках находится. Савелий скомандовал: «Ехать!» И

привычка слушаться старшего сработала механически. Если в тайге старшего не слушаться, быстро лыжи откинешь.

Заявились всей артелью, мать на крыльце стояла. Нисколько не изменилась, будто вчера расстались. Такая же высокая, статная, голову держит так, словно земных поклонов ждет. Сыну на грудь не бросилась, только секундным жадным взором обдала. Голос не дрогнул, когда гостей в дом приглашала. Нюраня, сестричка, конечно, на нем повисла, на шею запрыгнула, брат Петр с гоготом и объятиями, работники с приветствиями, Марфа запунцовела, кланяется.

Отец дома был и поздоровался тепло, расцеловал искренне:

– Хорош! Возмужал, эка вымахал, детина! Здравствуй будь, сыночек! Добро пожаловать в родной дом!

Мать артельщиков приветила щедро – баня, сытое застолье. Но и задержаться не позволила, дала понять, что им тут не с руки гостевать. Степан, набражничавшись, объевшись с непривычки до пучения живота, проспал и не видел, как товарищи уходили поутру. Работник потом рассказал.

Мать их, сонно ковыляющих, провожала. Дала старшему два узелка. Один поменьше, другой побольше. Что там было? Скорей всего, деньги, может, и червонцы... Нет, для червонцев многовато объема... бумажные.

– Прими, Савелий Поликарпыч, мою материнскую тебе личную благодарность, – протянула мать узелок поменьше.

Савелий замялся и сказал непонятное:

– Король взял горсть золотых монет и вложил их в руку д'Артаньяна. Тот без стеснения опустил полученные им сорок пистолей в карман и рассыпался в благодарностях его величеству.

– Чего? – удивилась Анфиса.

– Не могу я от тебя плату принять! – в сердцах воскликнул Савелий Поликарпыч. – За такого парня сам бы кому хочешь приплатил. Золото у тебя сын!

– Я знаю, – спокойно кивнула Анфиса Ивановна. – Мне ли не знать! И тебя не подкупаю, ваши таежные лихости – дело прошлое. А материнское «спасибо» отталкивать – это не по-христиански. Вот еще возьми, – (узелок побольше), – ребят одели. Прощевай! Бог в помощь!

И Савелий, по словам работника, с двумя узелками в руках побрел к калитке, точно пес, который незаслуженные кости отхватил.

Представить Савелия псом ковыляющим было трудно. Но мать могла. Умнейшего, талантливейшего, закаленного, авторитетного таежника свести до положения дворняги. Все могла, даже не дать ему, Степану, проститься с

товарищами, с которыми три года бок о бок...

Однако мать не посмела лицо ногтями драть, когда он заявил, что идет в Красную армию. Знала, что никакие преграды его не остановят, что в его жизни снова появились Вадим Моисеевич и великий смысл бытия.

Таежные науки, усвоенные Степаном, при подавлении Восстания не раз спасали отряд, которым недолго, до перевода в Омск, командовал городской интеллигент Вадим Моисеевич, а комиссаром был заполошный романтик из омских мастеровых. Пройти непролазным болотом и зайти противнику в тыл, заметить по кружению птиц приближающееся наступление врага, учуять запах чужого костра за много верст – в этом Степану не было равных.

Слова Учителя, сказанные после особенно трудного перехода: «Мы все тебе обязаны жизнью!» – Степан воспринял как награду, оправдывающую трехлетнюю ссылку.

Данилка Сорока

Степан повстречался с Данилкой в коридоре ОГПУ, не узнал его, пока не услышал:

– Здорово, земляк! – Данилка протянул руку.

Он был одет в кожаный китель, перепоясанный портупеей с кобурой. Галифе тоже были из черной кожи, ниже колен они туго обхватывали кривые ноги и уходили в щегольские хромовые сапоги, начищенные до такого блеска, что можно было бриться, глядя в них вместо зеркала. На голове Данилки красовалась лихо заломленная на левое ухо кубанка, а на правом виске кудрявился лихой казачий чуб. Степан против Данилки смотрелся как деревенский чумазый батрак. Кое-как почистился перед входом, но мокрую грязь, которая всю дорогу летела из-под копыт лошади, набрызгалась на полушубок, на штаны из стеженного ветошью сукна (и в них-то застыл, но хорошо хоть овчинные порты не надел), на сапоги и даже на бобровый малахай, оттереть было невозможно.

Степан не поздоровался и руки не протянул, молча смотрел на Данилку, стараясь не показать, как поразила его командирский вид бандита.

Данилка не смутился, убрал руку и спросил:

– Ты к Моисеевичу? Пошли!

Обогнал Степана и первым вошел в кабинет.

Вадим Моисеевич, сидевший за столом, поднял голову от бумаг. И Степан увидел, как радостно блеснули за стеклами круглых очков близорукие глаза Учителя. Этот блеск Степан помнил с детства и каждый раз, когда они встречались после разлуки, ждал со сладким замиранием сердца невыразимо приятного, отеческого сияния глаз Учителя.

Несемейный и бездетный Вадим Моисеевич, сын богатого киевского аптекаря, непонятый семьей за то, что подался в революционеры, очень любил детей и молодежь. Наверное, так же, как родной отец Степана свои деревяшки резные. Только ведь деревяшки – мертвые, а люди душу имеют.

С болью, которая была, конечно, эгоистической обидой, Степан заметил, что радостный блеск в подслеповатых глазах Учителя вызван не только им лично, а еще распространяется на Данилку Сороку.

Вадим Моисеевич встал из-за стола, поправил сползающую шинель на плечах. В помещениях ОГПУ верхнюю одежду расстегивали, но не снимали – зябко. Печи подтапливали, но настоящего тепла не было, дрова экономили. Лесов вокруг море, а у главной власти поленья наперечет.

– Степан! Данила! – поздоровался с ними Учитель.

Не сдержавшись, еще не отпустив руку Вадима Моисеевича, Степан быстро заговорил:

– Данилка Сорокин подозревается в зверском убийстве и воровстве, случившихся... – он запнулся, – в ночь после моей свадьбы.

Вадим Моисеевич нахмурился.

– А доказательства есть? – вздернул брови Сорока.

Издевку в его вопросе Степан уловил чутко, а Вадим Моисеевич не услышал.

– Степан? Есть доказательства? – спросил Учитель.

Главной бедой Степана была совесть, ему жилось бы гораздо проще, не сиди внутри него какой-то черт-ангел-бес-пророк-злыдня, который каждый шаг, каждое слово мерил аршином под названием «совесть». И вот теперь это вредное существо заявляло: «Твоя горячность продиктована тем, что Сорока выглядит не в пример тебе браво, и тем, что пришлось делить с ним радостный блеск в глазах Учителя».

– Все село знает! – брякнул Степан, с отвращением понимая, что похож сейчас на упрямую деревенщину. – Ежели бы поличье имелось, я бы давно представил.

– Какое «поличье»? – удивился Вадим Моисеевич.

От злого волнения у Степана выскочили из головы культурные слова, одни народные остались.

– Улики, – пояснил он.

– Поличье! – усмехнулся Сорока, глядя на Степана с нахальным превосходством. – «Все село» с точки зрения юридической аргументации – это нонсенс.

«Давно ты подобными словечками научился бросаться?» – подумал Степан, но вслух ничего не сказал, потому что Вадим Моисеевич смотрел на него с отеческой печалью, в которой была и толика насмешки.

– Хотел с вами обсудить обстановку в уездах, – повернулся Данилка к Вадиму Моисеевичу, давая понять, что выходка Степана не стоит внимания.

Степану вдруг показалось, что Вадим Моисеевич сейчас скажет: «Мальчики, не ссорьтесь из-за ерунды! Вы ведь товарищи! И вместо ссор должны быть споры. Вот, например, тема для диспута...» – так он говорил, когда был учителем в их сельской школе.

Но Вадим Моисеевич сказал другое. Поглядывая на Степана с жалостью, которая была хуже всякого презрения, выпроводил Данилку:

– Потом поговорим, зайдешь вечером. Скажи секретарю, пусть

принесет нам чаю, Степан ведь с дороги.

– Есть!

Данилка отсалютовал, приложив руку к кубанке, которую так и не снял, войдя в комнату. Наверное, прическу помять боялся. И очевидно, уже имея право нарушить элементарные приличия. Из мужского племени только священникам дозволялось с покрытой головой в помещении пребывать. Сорока, выходит, себя к архиереям приравнивал. Степан снова поймал себя на недобром злопыхательстве, а слова Вадима Моисеевича только прибавили горечи.

– Я знаю, что вы были влюблены в одну девушку. Но ведь в честном поединке она досталась тебе...

– Никакого поединка не было! Потому что Парася никогда не любила Сороку! Она его ненавидела! А любила, то есть любит, меня!

– И надо уметь, – отечески продолжал Вадим Моисеевич, – проявлять благородство к поверженным...

– Этот петух, с головы до пят в черную кожу замотанный, с двумя револьверами по бокам, поверженный?

– ...и не переносить личную неприязнь на общественные дела. Я, признаться, удивлен, всегда считал тебя, Степан, человеком исключительной природной нравственности.

– Он бандит и преступник! – стоял на своем Степан.

– Вернемся к этому разговору, когда у тебя на руках будут доказательства. Поличья, – улыбнулся Вадим Моисеевич. – Кто, как не ты, всегда был против огульных обвинений, скорой расправы?

Секретарь принес чай и блюдце с пятью сиротскими кусочками сахара.

Мать перед поездками Степана в Омск предлагала:

– Возьми для своего жида чахоточного круг козьего молока мороженого да меду первоцветного с еловой вытяжкой – лучшее средство при кашле.

Но мать ведь не о здоровье Вадима Моисеевича заботилась, а хотела подмаслить начальство сына.

– Мой учитель мзду не берет, – гордо отказывался Степан.

– Ну-ну! – ухмылялась мать. – Пусть кашляет.

Вот и получается: мать насмешничает, Вадим Моисеевич, которого, наверное, действительно следовало бы деревенскими продуктами подкормить да подлечить, журит бывшего ученика, и даже на мерзкой Данилкиной морде выражение превосходства – кругом Степан в отстающих...

– Давайте к делу! – перебил он Учителя, который, расхаживая по

кабинету, рассуждал о пролетарской справедливости.

– К делу так к делу, – вернулся за стол Вадим Моисеевич.

Он был явно раздосадован тем, что ученик остался глух к его увещаниям.

– В Сибири крестьяне всегда с понятием и уважением относились к кооперативной организации труда, – начал Степан. – Потому что союзы кооператоров помогали выходить на рынок со своей продукцией. Союз сибирских маслодельных артелей диктовал цены далеко за Урал...

– Есть идея воссоздать «Сибмаслосоюз» с учетом новых условий, конечно, – перебил Вадим Моисеевич. – Товарищ Ленин подчеркивал, что крестьянская кооперация – важнейшее звено при переходе к социализму.

– Очень верная идея! – горячо поддержал Степан.

Вадим Моисеевич с легким осуждением покачал головой: Ленина он одобряет, нашелся судья! Вождя революции положено слушаться беспрекословно.

– Как селяне отреагировали на смерть Ильича? – спросил Учитель.

– Скорбели, – после легкой заминки ответил Степан.

Врать он не любил. Но с другой стороны! Вадим Моисеевич, много времени проводивший в сибирской ссылке, только у них в Погорелово проживший несколько лет, мог бы усвоить психологию землепашцев! Царь преставился, следующему присягать, царь отрекся от престола – перекрестились и пошли своими делами заниматься. Временное правительство возникло, Временное правительство пало, Совет народных комиссаров... Все это очень далеко! И географически – в Расее, и от повседневных забот далеко. Сам же Учитель прежде говорил о сибиряках: «Просвещать, просвещать и просвещать!» Дык ведь недопросвещали! Чего ж теперь от них требовать?

– Партячейка, – продолжал Степан, – организовала митинги поминальные, то есть, извиняюсь, траурные... Морозы были сильные... – врать стало ему противно. – Явка населения была низкой. В такие морозы и своих-то покойников только близкие провожают.

– Ну-ну, – покивал Вадим Моисеевич. – Морозы, конечно.

Он кивал и нунукал как добрый батюшка, который отваживал-отваживал сыновей от хулиганства, а они за старое.

Положа руку на сердце, Степан и сам не очень горевал, получив известие о смерти Ленина. Конечно, Ильич – вождь, сила и надежда мирового пролетариата. Утеря невосполнимая. Но Степан пережил крушение кумиров: матери и отца в детстве и юности. Остался один кумир – Учитель. И теперь этот кумир, полчаса назад даривший блеск своих

ласковых глаз Данилке Сороке, сидит напротив, и Степан вынужден ему врать или, по меньшей мере, осознавать невозможность распахнуть душу, поделиться болью. Хотя боль эта за их общее дело.

– Про кооперацию, – хрипло откашлялся Степан. – У меня в районе двенадцать мелиоративных товариществ, – не без гордости доложил он, – одно семеноводческое и одно коневодческое, две сельскохозяйственных артели, товарищество по совместной обработке льна, три охотничьих...

– Какой процент от всех хозяйств они составляют?

– Меньше десяти, – вынужден был признать Степан. – Так ведь трудно дается! Объединяется беднота, у которой ни техники, ни скота, ни семян...

– Надо забирать у кулаков!

– Только бандитизм поощрять! У нас еще в двадцатом году организовали коммуну «Красная Сибирь» на землях и хозяйствах богача Меркурия Чернова. Коммуне отошли постройки, сельхозмашины, лошади, племенной скот. А через два года все сгорело! Не само, конечно, Чернов поджег.

– Поймать и расстрелять!

Принципиальное несогласие Степана с Вадимом Моисеевичем состояло в том, каким образом поддерживать крестьянскую кооперацию. Степан считал необходимой помощь государства в виде ссуд, кредитов, предоставления техники и семян по низким ценам. Это важно не только с экономической точки зрения, но и с политической. Люди должны поверить в новое государство, в правительство, понять, что оно им не враг, что не будет и дальше грабить, забирать излишки, а даст развиваться и трудиться свободно. Ведь лозунг свободного труда – он не только для рабочих.

С точки зрения Вадима Моисеевича, политическая целесообразность момента заключалась в стирании классовых и экономических различий на селе. Иными словами, забрать у кулаков, раздать бедноте, уравнивать всех сельхозпроизводителей, и тогда они дружным строем пойдут в коммуны и в товарищества по совместной обработке земли, к социализму.

Степану эти идеи казались не просто бредом кабинетного ученого, страшно далекого от реалий крестьянского труда и быта, эти идеи были опасны, так как могли привести к новому восстанию.

Вадим Моисеевич снова ходил по кабинету, говорил, жестикулируя, шинель сползала с плеча, он ее поправлял. Учитель говорил о том, что революция делалась для того, чтобы не было бедных, для всеобщего равенства и что истинных революционеров в белых перчатках не бывает. Приводил в пример Данилу Сорокина, который зарекомендовал себя как стойкий и выдержанный боец в деле экспроприации...

– Данилку хлебом не корми, дай грабить, убивать, насильничать! – зло сказал Степан, который вначале поддался магии слов Учителя, но при упоминании о варнаке очнулся.

– Опять ты за старое? Личная неприязнь...

– Нет тут ничего личного, – перебил Степан. – Мне на Данилку с высокой горки! Вы поймите! Если в коммуны придут крепкие зажиточные крестьяне, то это будет совершенно иной уровень производства. Сами придут! Когда увидят, что социалистический путь правильный. За три года, самое большее за пять лет Сибирь накормит всю Расею!

– Россию, – поправил Вадим Моисеевич. – Нет у нас времени на раскачку. Страна окружена врагами, промышленность в руинах...

«Это у тебя нет времени, – поймал себя на злой мысли Степан, – с такой чахоткой долго не протянешь. Мне же еще пахать и пахать, а у моего первого сына жизнь только забрезжила».

Не получилось у них разговора. Когда-то Учитель говорил, что в споре рождается истина, только если одна из сторон способна принять аргументацию другой. В противном случае спорщики лишь еще больше укрепляются в собственном мнении. Именно так, к досаде обоих, и получилось. Большевистская партия учила тому, что правда на стороне большинства, – значит, на стороне Вадима Моисеевича. За ним широкие бедняцкие массы, и убеждения его основаны на постановлениях партии и правительства. А кто за Степаном? Кулаки да подкулачники? Нет, они вообще ни за кого. Отсиживаются, приглядываются, прячут добро, саботируют. В одиночестве Степан со своими, как говорит Вадим Моисеевич, заблуждениями и мелкобуржуазными настроениями. Выполняй, мол, план разнарядок и постановления, не забивай себе голову вредной ерундой. Как будто эти планы и постановления можно выполнить без того, чтобы чью-то жизнь не исковеркать.

«Лес рубят – щепки летят», – сказал на прощание Учитель. Кому нужны лесорубы, у которых щепы больше, чем товарного кругляка?

Яблоки и кавуны

Марфа переносила беременность легко. Лицо только слегка побило коричневыми гречишными пятнами на скулах. Она раздалась в кости, налилась, округлилась, заметно увеличившаяся грудь напоминала две большие крепкие репы, лежащие на уютном валике живота. Выражение довольства и тихой радости не сходило с лица Марфы. Она была счастлива, и счастье ее было автономное, собственное, не зависящее от того, что происходит вокруг: от событий, чужих слов, капризов погоды, времени суток, вечерней трудовой усталости, утренней бодрости. На Марфу посматривали с удивлением – какая-то блаженная стала. Марфа удивления не замечала, она была с ними, с домашними, и в то же время отдельно от них, в своем мире. Никто не обсуждал ее состояние, друг с другом не перешептывались, у них не было принято судить человека, если он не создавал проблем. Вот если бы Марфа умом тронулась, стала землю в рот запихивать и живот себе расцарапывать (так было с одной беременной женщиной на сенокосе), конечно, забили бы тревогу. Но Марфа поводов для тревоги не давала, напротив, всех наводила на мысль, что вот она, истинная женская доля: выносить ребенка, быть счастливой своим предназначением. Марфа была создана для материнства, остальное только тому сопутствие.

Прасковья ходила тяжело. На светлом курносом личике почти не осталось чистого места – все было усыпано неровными ржавыми пятнами. Руки истончились, ноги обволоклись пузырями отеков. Живот был огромным, рос и рос, вперед стремился. Кожа на животе полопалась, розовела трещинами. Прямо ходить Прасковья могла, только слегка откинув спину назад, и от этого ее движения были неуверенными, ненадежными. Для равновесия она растопыривала руки и походила на какое-то животное, которое вместо того, чтобы передвигаться на четырех лапах, встало на задние.

Жадная Анфиса в летнюю страду Марфу отправляла в поле, где и сама от зари до зари находилась, и Еремей, ненавидевший крестьянский труд, как миленький пахал, сеял, косил. Чтобы осуществить планы Анфисы, рабочих рук не могло быть много, их всегда не хватало. Прасковья оставалась на легком домашнем труде.

Так ли уж легко беременной женщине убрать в доме, присмотреть за скотиной и птицей, наготовить еды на семерых?

Степан не замечал, как подурнела лицом жена, не видел, что ее прежде тонкие щиколотки превратились в водянистые столбики. Степан приходил вечером усталый, намотавшись по своим коммуна и артелям, ужинал, уходил в спальню, отмахнувшись от матери, требовавшей, чтобы он, «пролетарий вонючий», в бане помылся, бросал: «Утром!» – и засыпал мертво. Или бормотал Парасеньке тревожное: «Загребут меня, как пить дать... такие вроде Данилки Сороки... А Учитель за него... Сегодня не дал отряду ГПУ Акимовское хозяйство экспроприировать... Он ведь сам к нам! Аким осознал после моих бесед... Чего вы прете как быки-перволетки?..»

Особенно трудно Прасковье было в те дни, когда пекли хлеб. Еду она готовила в летней кути во дворе, а хлеб пекли только в доме. И нигде не было спасения от удушающей жары, и не успевала Прасковья к возвращению домашних с полей управиться, вперевалочку передвигаясь, боясь в руки взять лишний предмет.

Она упала возле летней кути. Нужно было большой чугунок с огня убрать, чтобы варево не подгорело. Взять ухват, подцепить чугунок и в сторону сдвинуть. Не получилось, силы подвели... Упала, в полете ухват чугунок запрокинул, и содержимое растеклось по стенке печи, на землю пролилось, обварив ногу Прасковье. Она разрыдалась от боли и страха – испортила еду для семьи, которая вот-вот с поля вернется.

Они вошли во двор и увидели дикое: в летней кути Прасковья, плачущая, ползает в луже чего-то напоминающего блевотину, пытается встать и снова падает, валится на бок.

– Господи Иисусе! – ахнула Марфа.

Еремей заметил валяющийся на земле чугунок и понял, что произошло.

Он подбежал к невестке, подхватил ее на руки и гневно бросил жене:

– Совсем ты, Турка... ити твою... Турка!

Он понес Прасковью в дом. Анфиса пришла в себя, велела Акиму принести льда из ледника и поспешила за мужем.

– Нет в тебе жалости к людям, – говорил Еремей. – Кому ты? Для кого ты? Беременных девок загнала вусмерть, кулачиха! Уеду я, не могу смотреть...

Прасковье было непривычно, стыдно... и очень приятно, что свекор несет ее, нежно на постель опускает. Какие руки у него! Сильные и мягкие... Отеческие? Такие и есть отеческие? Ведь родного батюшки объятий она не ведала... Раньше часто Степан ее на руки подхватывал и кружил по комнате, но сейчас опасался ее состояния, да и не до кружений ему было. А ей хотелось! Так хотелось, чтобы оторвали от земли, по

которой тяжело ступать чугунными ногами, подержали на руках, побаюкали, как маленькую...

Родители ссорились. Прасковья глаза закрыла, но уши-то не заткнешь.

– Я терпел, – зло говорил Еремей Николаевич, – из-за всей своей мочи терпел. Но ты меня, Турка, до нижнего доньшка вычерпала. Уйду!

«Сейчас она скажет, закричит про то, кто ее терпенье считал, – подумала Прасковья, – про то, что она всех их, дармоедов, содержит, а без нее они бы христорадничали и давно бы загнулись на бескормице...»

Прасковья знала, что свекор не уходит на отхожий промысел, потому что его мастерства нынешней власти не требуется. Плотники в Омске тятляп строят, а Еремею Николаевичу подавай задания по фигурной резьбе. Он предпочитает дома своими досточками тешиться, хотя в страду, конечно, в поле выходит. И вот теперь ее, Прасковьи, недосмотр и промашка почему-то вызвали у свекра решимость покинуть семью.

Анфиса Ивановна повела себя совсем не так, как ожидала Прасковья.

– Охохошеньки! – раздался стон Анфисы Ивановны.

Прасковья осторожно приоткрыла глаз: свекровь руку свекра захватила, в плечо ему головой уткнулась и бормотала:

– Господи, прости! Еремей, ты ж меня как никто знаешь! Я ж в работе лютая, себя не сажу, а других и подавно. Кто меня охолонит, если не ты? Я ж твоя крокодилица! Извела меня мышь предчувствия!

Прасковье стоило труда не издать возглас удивления: Анфиса Ивановна в унижении! Прасковья язык себе прикусила до боли, глаза зажмурила, точно ребенок перед страшным.

– Ладно, – сказал Еремей Николаевич, – отцепись, впились точно клещи...

Прасковья потом спрашивала мужа, кто такая крокодилица. Степан отвечал, что это животное болотное в странах на других континентах, вроде змея. Прасковья допытывалась: а если муж называет жену крокодилицей, то это как? Степа говорил, что никак, – и этот муж, и его жена дурные на голову. А «мышь предчувствия»? Степа сказал, что ей лезут в голову всякие глупости.

Принесенные сколы льда Анфиса завернула в тряпку и приложила к ожогу на ноге невестки. Та, раздетая донага, пыталась говорить, что ей уже хорошо, полегчало... Свекровь велела заткнуться.

Анфиса увидела и непомерно большой живот в трещинах лопнувшей кожи, и ввалившиеся скулы на рябом лице, и вздувшиеся вены на груди, и

самое плохое – сильно отекающие ноги.

– Что ж ты молчала, дура? Есть мне досуг тебе под юбку заглядывать?

– Простите! Я только сегодня не сдюжила... Я могу...

– Чего «могу»? – передразнила свекровь.

В этот момент она вешала на открытое окно мокрую, редкого плетения холстину – чтобы воздух шел подсыроватый, а гнус-комарье не влетало.

– Твое «могу» сейчас для ребенка главное, – говорила Анфиса Ивановна. – Вроде ты и не худа умом, Параська... Не мог мой Степушка на дуре жениться... А все-таки акцентов расставлять не умеешь.

– Чего расставлять?

– Того, что главное в данное время. Твое главное – дитя выносить.

– Но вы же... сегодня же хлеб...

– Ты еще упрекай меня, неблагодарная голытьба!

– Простите!

Анфиса подошла к кровати, на которой лежала невестка, присела на край.

– Извините... – начала Прасковья.

– Умолкни!

Несколько коротких минут Анфиса сидела, опустив голову, выравнивая дыхание, чуть потряхивая кистями. Потом положила ладони на живот Прасковье. Та вздрогнула от неожиданности и затихла, подчиняясь воле рук свекрови, от которых шло обволакивающее тепло. Анфиса сместила растопыренные пальцы по кругу в одну сторону, потом в другую, нахмурилась, убрала руки. Склонилась, ухо приложила к животу Параси, с одной стороны послушала, с другой... Сомнений нет.

– Двойня у тебя, – проговорила с нескрываемой досадой Анфиса Ивановна. – Близнецы. Такая судьба нам на роду написана. Помрут, у всех помирали. А дальше будут нормальные дети.

– Как? Что? – запричитала Прасковья.

Голая, пузатая, с уродливыми отекающими ногами, с грудями прежде, очевидно, крохотными, а теперь, как и живот, с потрескавшимися розовыми овражками лопнувшей кожи и с голубоватыми извилинами вен, Прасковья трепыхалась на кровати, как испуганный паук, вырванный из сотканной им паутины.

– Воля Божья, – вздохнула Анфиса. – Матку, орган женский, сохранишь, будет тебе дальнейшая жизнь со Степаном и в нашем роду. А без матки ты снег прошлогодний.

Она убрала ледяной компресс и смазала ногу Прасковье кедровым маслом. Выходя из комнаты, оглянулась:

– Прикройся! Не ровен час, зайдет кто-нибудь, а ты во всей красе.

Страшный приговор свекрови оглушил Прасковью, она даже плакать и молиться не могла. Лежала пластом, в потолок смотрела. Марфа поесть принесла, Прасковья головой помотала и повернулась на бок, в стенку уставилась. Нюраня сбегала к ее матери и рассказала, что Парася упала, ногу обварила, теперь находится, как тятя сказал, «на постельном режиме». Туся, испугавшись, поспешила к дочери, но Парасенька то ли притворилась, что спит, то ли в самом деле дремала.

Наталью Егоровну пригласили чай пить. Самовар у Медведевых был знатный – двухведерный. Когда вся семья и работники за чаепитием засиживались, случалось, по несколько раз самовар ставили. Нюраня больше трех чашек чая выпить не могла, а дядя Аким и дядя Федот по десять чашек принимали. Нюраня очень любила эти вечера за самоваром, потому что тятя, обычно несловоохотливый, если не уходил быстро, если было у него настроение, рассказывал что-нибудь интересное про свои путешествия по Расее, да и про Сибирь неожиданное. В тот вечер говорили о яблоках.

Прасковья слышала, как пришел Степан, и торопливое «бу-бу-бу» – ему поведали о случившемся, и его невнятные и тревожные «бы-бы-бы» – вопросы, и снова «бу-бу-бу» – успокаивали.

Степан приоткрыл дверь, заглянул в их горенку. Прасковье страстно хотелось, чтобы он вошел, обнял ее.

Но тут раздался голос свекрови:

– Не тревожь, пусть отдыхает. Иди есть, все погрето. Тут тебе не трактир, чтобы по десять раз накрывать.

Степан закрыл дверь.

Еремей Николаевич, прослуживший в госпитале несколько лет, имел авторитет в медицинских вопросах.

– Бабам на сносях требуется особое специальное питание, – сказал он.

Петр загыгыкал, Федот и Аким потупились, они никак не могли привыкнуть к тому, что хозяин не стеснялся говорить о вещах, для мужского авторитета неприемлемых.

– Како тако особо специальное? – заинтересовалась Наталья Егоровна.

– К примеру, яблоки.

– Бабы в Сибири прекрасно без яблок рожали, – не согласилась Анфиса Ивановна. – И в старое время цены на яблоки кусались. Пуд мяса стоил два-три рубля, а за одно яблоко на базаре просили двадцать пять копеек.

– Говядина дешевле яблок, – быстро подсчитал Петр.

– Так они ж все привозные, баловство одно, – стояла на своем Анфиса. – За морем телушка полушка, да рубль перевоз.

– Не растут в Сибири яблоки, – поддержал мать Степан.

– Ошибаетесь, – улыбнулся Еремей Николаевич, – на сибирской земле все растет, к чему руки талантливые приложить. В девятьсот пятом году познакомился я с Комиссаровым Павлом Саввичем, дом мы ему ставили и анбары. Сам Павел Саввич из-под Казани, из волжских крестьян-садоводов, но занесла его судьба в сибирские земли. Начал он с того, что взял у Сибирского казачьего войска двадцать десятин земли у станицы Усть-Заостровской и заложил сад. Первая зима выдалась мягкой, без сильных морозов, и саженцы, заботливо укутанные, перенесли ее хорошо. Да только другая беда случилась – зайцы объели кору с молодых побегов. Комиссаров перенес сад в другое место, южнее, ближе к Иртышу, оттуда и воду было легче носить, и лес с зайцами подале находился. Тяжелый это труд садоводческий. Павел Саввич, жена его Федосья Александровна, сын Федор и невестка Ирина по семь сотен ведер воды за лето по саду разносили. А на зиму укутывали саженцы березовыми ветками, каждое деревце в шалашике. Весной во время цветения красота необыкновенная, но если мороз по цветкам ударит, завязей не получится и урожая не будет. По саду костры жгут, чтобы дым деревья защищал. А еще для новых сортов прививки делают. Чудное дело – с одного растения веточку срезают, на другом надрез делают и эту веточку в надрез вставляют, прибинтовывают, она приживается. Можно даже на яблоне груши вырастить.

– Вот уж сказки, – хмыкнула Анфиса.

– Чистая правда, садоводческая наука. У Комиссарова в саду двадцать сортов яблок было, больше десятка сортов вишни, слива, барбарис, смородина красная и черная...

– Это что, папа? – перебила Нюраня.

– Ягода вроде нашей клюквы, только не на земле растет, а на кусте, приятно ароматная.

– Погиб сад у Комиссарова? – спросил Степан.

– На четвертый год урожай дал. Плоды сибирской яблоньки были меньше размером, чем материнские из Расеи, но сочные и отличного качества. Главное же – яблони и прочие фруктовые деревья отлично морозы наши переносили. В девятьсот седьмом году, как я слышал, Комиссаров через губернатора Степного края преподнес императору Николаю Второму ящик с сибирскими яблоками и фотографии сада. Царь

приказал наградить Павла Саввича денежно, а от себя лично передал ему золотые часы с цепочкой и государственным гербом.

– Папа! – воскликнула Нюряня. – Я помню, как ты привез яблоко и грушу, а мама... – Она заткнулась, поймав грозный взгляд Анфисы.

Разговор подхватила Наталья Егоровна:

– Переселенцы говорят, у них в Расее яблок, что у нас шишек, и еще разные другие фрукты, а еще кавуны...

– Арбузы, – кивнул Еремей Николаевич.

– Такие, – развела широко ладони в стороны Наталья Егоровна, но потом все-таки свела, – с человечью голову шары, сверху коркой зеленой покрытые, а внутри мякоть красная – чистый мед.

– Папа, ты кавуны пробовал? – спросила Нюряня.

– Пробовал, очень вкусные.

– А в Сибири можно кавуны вырастить?

– Все можно, дочка, когда есть мечта и старание.

– Давай у нас в огороде посадим?

– Кавунов нам только не доставало, – осуждающе сказала Анфиса и презрительно добавила: – Если у них так сладко было, что ж они к нам всё пёрлись и пёрлись? Знать, не во фруктах счастье.

– Степа, – не унималась Нюряня, – ты поедешь за яблоками для Параси?

– Почему я? – растерялся Степан. – Петька тоже...

– Что я тоже? Гы-гы...

– Участвовал, способствовал... – не мог найти подходящего слова Степан.

К общему смеху не присоединился только Еремей Николаевич. Он вдруг нахмурился и резко поднялся:

– Спасибо за чай! Время поживать, завтра спозаранок на сенокос отправляться. А яблок сейчас нет, они к осени созревают.

Только Степан вошел в комнату, Прасковья резко села на кровати:

– Она сказала – близнецы! Она сказала, что не жильцы наши детки! Степа, я не верю! Я не хочу, сердце мое не приемлет!

Он никогда не видел супругу голой. Катерину видел, а жену не смел просить показаться без одежд. Парася очень стыдлива, хотя красивее женского тела ничего нет. В Омском городском саду статуи с отбитыми носами и конечностями, со следами пуль, а все равно прекрасные; красноармейцы застывают перед ними, словами похабными бранятся, но это от смущения перед красотой.

Парася что-то горячо твердила, Степан не улавливал смысла. Смотрел на нее завороченно. К его восхищению примешивалось странное чувство собственной причастности к ее изменившемуся телу, которое нисколько не отвращало, напротив, будило жгучее желание. Ведь это его семя сделало маленькие кавуны из ее груди и огромный кавун на месте прежде плоского живота. У Степана горло перехватило, закашлялся, затрясся от небывалой силы желания Парасино тела, своих ростков в ней – чего-то смешанного, абсурдного и непереносимо острого.

Дрожа, он лег на кровать и уложил рядом Парасю, гладил ее груди и живот, называл их непонятным ей словом «кавунчики».

– Степушка, твоя мама...

– Да не слушай ты ее! Она пережиток капитализма. Ах, мои сладкие медовые кавунчики, – целовал он жену. – До чего же ты у меня обольстительная, как люблю я тебя... Не приспособиться, я тихонечко, я не повредю, ры-ы-ы, – прорычал он нетерпеливо. – Повернись спинкой, вот так, я с бочка... О-о!!! Хорошо! Па-ра-сень-ка, Па-ра... – ритмично входил в нее Степан.

– Она не права? Наши дети выживут? – в такт толчкам мужа билась лбом в стенку Парася.

– Ко-не... ко-неч-но... вы-вы... жи-жи... А-а-а! – сотрясся в последнем толчке Степан.

Он затих, шумно сопя ей в шею.

– Степа?

– А?

– Что ты думаешь?

– Что ты мой рай земной.

Через минуту он уже спал крепко, похрапывая. Парасе было неудобно лежать носом в стенку, с придавленным животом, где близнецы затеяли борьбу, да еще Степа свою нехрупкую ногу положил прямехонько на ее ожог, вздувшийся мокрым волдырем. Она кое-как растолкала мужа. Не просыпаясь, он откатился на край постели. Парася встала, надела рубаху, несколько минут смотрела на спящего Степана. Льющийся из окна свет полной луны, проходя через крупные ячейки рогожки, бросал на его лицо колышущиеся зыбкие тени. Казалось, Степан куда-то плывет. Будто он погружен в воду, но чудным образом продолжает мирно дышать, а над ним рябь быстрой реки.

– Куда ты устремлен, суженый? – тихо спросила Парася. – Куда ты, туда и я, – вздохнула она и, неловко перевалившись через мужа, забралась к стеночке. – И деточки наши выживут! Родятся и выживут!

От страшных мыслей, которые ее мучили последние несколько часов, не осталось и следа. Степа пришел, и страхи улетучились. Теперь, засыпая с улыбкой, она думала о том, что раскрылась тайна борьбы у нее под сердцем – это маленькие буяны кулачные бои устраивают. Все в батюшку... И в Степу, конечно, тоже... И в свекра Еремея Николаевича, у которого такие теплые, отеческие руки...

Доктор

Марфа теперь оставалась на хозяйстве. Прасковья была у нее на подхвате, но не надрывалась на домашней работе, берегла себя. Это было очень непривычно – беречь себя. Однако ради детей стоило. Не ради матки – органа для дальнейших рождений, а именно ради буянов, которые сейчас ерзали у нее в животе. Прасковья поклялась себе, что выходит близнецов. В оберегании себя не было ничего трудного, только приятное, но стыдное. Замужняя баба, подумаешь, беременная, ну, упала, так ведь костей не сломала и зародышей не выкинула, ноги отекают, огнем горят и слабость беспросветная – эка невидаль. Чай не барыня, чтобы подушки мять в середине дня, когда работы еще невпроворот. Баба-лежебока – это не просто стыдно, это хуже гулящей.

Прасковья давила в себе голос бабьей совести, ложилась в постель, под ноги клала подушки, чтобы жидкость из них утекала. Засыпала под тихий звон посуды, с которой Марфа возилась в кути. Воды Прасковья старалась не пить, только отвары, приготовленные тетушкой Агафьей, которая была у них в деревне признанной травницей. Когда воды хотелось нестерпимо, брала в рот кусочек льда и сосала, полоскала горло и выплевывала. Яблок ей и Марфе, конечно, никто не привез, но прошлого урожая ягоды, хранившиеся в леднике, Анфиса Ивановна разрешила им трескать сколько влезет.

Это было очень хорошее время – последние месяцы беременности. Вдвоем в доме. Доброй Марфе в голову не приходило попрекнуть Прасковью тем, что та мало работает и по три часа спит днем. Ни словом, ни полсловом, ни взглядом Марфа не выказывала недовольства. Прасковья видела, что Марфе тоже тяжело, – ополоснет лицо и шею холодной водой, на лавку сядет, вытрется, помашет на себя полотенцем-рукотертом, ветерок нагоняя, а через минуту снова в работе. Другая на ее месте обязательно кольнула бы – мол, я такая же беременная, но ты дрыхнешь, а я за тебя вкалываю! С какой такой радости?

– Ты мне как сестра, – однажды сказала Прасковья. – Нет, лучше всякой милой старшей сестры! Какая ты добрая! – И расплакалась.

– Прасковьюшка, ты чего слезы льешь?

– Стыдно, Марфонька!

– Да чего ж стыдно-то?

– Ты горбатишься, а я почиваю.

– Так у тебя ж двое. И они Степановы. Да и справляюсь я, слава Господу. Тыфу ты, слова без него не скажешь...

Слезы у Прасковьи мгновенно высохли, потому что в словах Марфы явно звучало недопустимое богохульство. Но ведь Марфа из богомольной семьи, она Писание наизусть знает! Испугавшись намек на крамолу, Прасковья не отметила, что Степановых детей Марфа считает особо оберегаемыми. Марфа, в свою очередь, пережила внутреннее недовольство тем, что проговорила.

– Да и пусть были бы не Степановы, – сказала она, – но твои, хоть от заезжего молодца. Ты мне тоже сестричка, у меня ж родных сестер и братьев не было. Как я завидовала всем, у кого ребятня по двору носится! Мать просила: роди мне сестричку или братика!

– А что она?

– По шее давала или ухо выкручивала, велела святые книги читать. Отравила мне детские годы родная матушка.

– Марфа, ты что... – побоялась произнести Прасковья. Набрала полную грудь воздуха и выпалила: – Ты в Бога не веришь?

– Верю, конечно. Но Еремей Николаевич правильно говорит: Божьим именем сыт не будешь. Отдыхай, сестренка, закалялись мы с тобой, а мне еще еду готовить.

– Я тебе помогу, – дернулась Прасковья.

– Лежи, худоба! – ласково придавила ее к постели Марфа. – Поспи!

Прасковья вывернулась, села на кровати и обняла Марфу за шею:

– Я тебя отблагодарю! Когда-нибудь обязательно отблагодарю!

– Да разве я за благодарность? Да разве между сестрами счета-подсчеты?

– Прости меня! – снова заплакала Прасковья. – Чего несу, чего говорю, сам черт не ведает. Ой, вырвалось!

Черта-дьявола упоминать без лишней надобности, вроде присловья, считалось дурным тоном, хуже матерной брани.

Они захихикали. Марфа – потому что Бог и черт-дьявол были для нее равнозначными правящими миром силами, и неизвестно, кто из них справедливее: Бог ее гнобил, а черт попутал и ребеночка подарил.

Прасковья тихо смеялась и плакала, обнимая Марфу, потому что переживала чувство удивительного принятия чужой бескорыстной любви. Конечно, ее любили: мама, брат и сестра, тетка-крестная Агафья называла своей любимицей, и муж Степан ее лелеял. Но в их любви, крайне необходимой, без которой и жить бы не стоило, все-таки была потребность обратного тока. Они Прасковью любили, но и взаимно рассчитывали.

Марфа же ни на что не рассчитывала, не ждала, не просила и, уж конечно, не требовала. Чаще всего смотрела куда-то мимо Прасковьи, улыбалась чему-то, а когда разговор требовал участия, переводила на Прасковью глаза, из которых лился чистый свет доброты и участия.

«Я ее люблю больше, чем она меня, – нашла Прасковья защиту от вселенской доброты Марфы. – Я люблю ее особым чувством, а она любит всех. У нее объектов много, а у меня... У меня тоже много... Но Марфонька в отдельной ипостаси... Хотя каждый: муж, мама, тетка, свекор, свекровь – все по-своему... А Марфонька особо по-особому!»

Прасковья не была приучена к раздумьям, да и не хватало у нее на них времени в прежней, наполненной трудом жизни. Сейчас же в барском дневном отдыхе она о многом передумала.

Нюрания однажды услышала, как невестки обращаются друг к другу, и тоже захотела к ним в компанию:

– Ведь и я вам сестричка? Вот здорово!

Анфису, напротив, не порадовало то, что девки тесно зароднились:

– Развели тут монашескую обитель! Сестры выискались! Ишь как они друг с дружкой сю-сю, му-сю! Бока наели на моих харчах и свои порядки наводят!

– Матушка, – встряла Нюрания, – они ведь толстые, потому что дети в животиках.

– Спасибо, просветила меня, дочка! А то я не знала! Чтоб больше не слышала «сестричек»! Мой дом – не монастырь. Имена при крещении вам даны для обращения, ими и пользуйтесь.

Выволочку невесткам и дочери Анфиса устроила не из самодурства, а по расчету. Когда в доме невестки на ножах, спокойствия не жди. Невестки мужей науськивают, и вот уже брат на брата злобу держит, и семья превращается в потревоженный улей, где пчелы дерутся, вместо того чтобы мед собирать. Но так бывает, если власть свекрови слабая, если невестки бездельничают и у них имеется время чувствам и настроениям предаваться. Анфиса дала слабину невесткам, потому что беременные, однако Марфа и Парася не разругались, а слились в сестринской любви, что тоже не к добру. Во-первых, тесная женская дружба, когда две бабы прямо-таки влюблены друг в друга, рано или поздно приводит к разрыву, к ссоре такой же пламенной, какой была любовь. А дальше по писаному – мужья берут сторону супружниц и брат идет на брата. Во-вторых, генеральский стиль командования диктовал Анфисе, что в ее армии не должно быть союзов и объединений. Она отдает приказы, солдаты их беспрекословно выполняют.

А если появятся всякие дружбы у нее за спиной, то приказы начнут обсуждаться, а где обсуждение, там и смута, сопротивление, бунт.

Марфа и Прасковья послушались, и обращение «сестра» ушло из их обихода. Но только в присутствии Анфисы Ивановны. Недовольство свекрови не могло разрушить их счастливую дружбу. Разве дружбы и любви много бывает? Прасковья и Марфа часто мечтали вслух, как их сыновья – почему-то не было сомнения, что родятся именно мальчики, – будут расти вместе, дружить как настоящие братья.

Анфиса поделилась с мужем своими планами:

– Хочу дохтора привезти роды у невесток принять.

Еремей удивился: не водилось у них в деревне, чтобы докторов на такое привычное бабье дело вызывать.

Анфиса не стала признаваться в том, что ее не покидают дурные мысли, что мышь-предчувствие не прекращает своего вредного писка. Единственное, что разобрала в ее визге Анфиса, – беда как-то связана с новорожденными.

– А что бабка Минева? – спросил Еремей.

Минева-повитуха принимала роды еще у Анфисы. Считалось, что у Минева легкая рука пуповину вязать.

– Ей сто лет в обед, она уже на вершок от своего носа не видит.

– Делай как знаешь. Доктор всяко лучше.

В Сибири говорили «дохтор», а Еремей правильно, по-городскому, произносил «доктор».

– Сам за ним поедешь или работников послать?

– Пусть работники едут, – привычно ушел от лишних хлопот Еремей.

От Аксиньи Майданцевой Анфиса знала, что тот дохтор, которого она недобрым словом поминала, еще жив. Максимке операцию делал другой дохтор, помоложе, но старый пьяница еще коптит землю. Хотя разум подсказывал, что надо вызвать молодого врача, привычка отвергать новое и неизвестное пересилила, Анфиса велела привезти старого пропойцу.

Отправляя Акима и Федота, она дала четкие инструкции: привезти дохтора Василия Кузьмича. Если заартачится, вот средство – и протянула литровую бутылку самогона.

– Многовато, наверное, – с сомнением посмотрела на бутылку Анфиса. – Ну, вы там по мере надобности.

Работники не поняли, в чем связь дохтора и самогона, но не привыкли переспрашивать – суть распоряжений Анфисы Ивановны часто раскрывалась в момент их выполнения.

Василий Кузьмич Привалов доживал свой век в маленькой квартирке при больнице. Его сутки в последнее время не делились на утро, день, вечер, ночь, а имели только три периода – похмелье, выпивка, сон. Похмелье было тяжелым не столько физически, сколько морально – отвращение к себе, загубившему данные природой таланты и прожившему ничтожную жизнь, опустившемуся на дно. После нескольких рюмок картина жизни кардинально менялась, воспоминания о профессиональных победах становились крупными, яркими, выпуклыми. Василий Кузьмич говорил сам с собой, бахвалился, довольно похохатывал, пока не засыпал бесчувственно.

Аким и Федот заявили к доктору, когда его терзало проклятое похмелье. Все, что можно было продать, доктор давно продал за бесценок или выменял на самогон. За оставшееся ветхое барахло ему не нальют и стакана. Но можно было пойти к Мишеньке Петровичу, новому молодому доктору, смиренно попросить спирту. Уже не раз ходил и неумело врал: «Коллега, не одолжите ли *spiritus aethilicus*? Мне требуется для некоторых опытов». Какого рода опыты он ставил, все прекрасно знали. Мишенька Петрович не отказывал, но давал немного и с таким лицом, точно яд вручал. Унизительнейшая ситуация! Однако пьяницы, как мертвые, страху и стыда не имеют.

Невысокого роста, высохший, с пучками всклоченных седых волос на полулысой голове, доктор замахал руками на Федота и Акима, которые и поздороваться не успели:

– Не практикую! Идите к Михаилу Петровичу!

– Нас хозяйка, Анфиса Ивановна Медведева, за вами прислала. Роды у невесток принимать.

– Какие еще роды?! Сказал же – не практикую! Убирайтесь!

Аким достал бутылку и показал доктору.

– Что это?

– Дык, самогон. Чистейший. Анфиса Ивановна гонит, лично фильтрует и молоком осаживает.

– Фильтрует, осаживает, – бормотал доктор и протягивал трясущиеся руки к бутылке. Потом одумался, руки за спину убрал и напустил на себя важный вид. – Возьми рюмку в буфете... не эту, рядом, побольше, стакан... налей... так и быть...

Выпив, доктор крикнул и разом подобрел:

– Неплохой продукт. Кто рожает? Твоя жена?

– Не, хозяйкины невестки, обе на сносях.

– Путано выражаешься, братец. Еще налей.

После третьего стакана (пожадничал, думал – унесут бутылку) на Василия Кузьмича накатила алкогольная радость жизни, и он принялся разглагольствовать:

– Акушерство и гинекология – моя первая специализация. Меня отмечал сам Дмитрий Оскарович Отт! Я ассистировал ему на операциях по трубной беременности и удалению кист яичников. Я стоял у истоков его опытов по внутривенным диффузиям физиологического раствора поваренной соли обескровленным роженицам. Я одним из первых брал в руки инструменты, сконструированные Оттом, – осветительные зеркала для влагалищных операций, акушерские щипцы... Без ложной скромности – подсказал ему некоторые идеи... Вы понимаете, – обращался доктор к Акиму и Федоту, застывшим столбами и ничего не понимающим в его речах, – кого попало не стали бы приглашать на Первый всероссийский съезд гинекологов, состоявшийся в Петербурге в одна тысяча девятьсот третьем... или в четвертом? В пятом? Нет, в пятом я уже в Омске был... Не важно. Я планировал заниматься... предметом моих научных интересов было... Что было? Забыл. Хирургическое лечение опущения и выпадения половых органов... эпизиотомия...

Доктор бормотал еще несколько минут с закрытыми глазами какую-то тарабарщину, потом обмяк и уснул в кресле. Аким и Федот подхватили его, вынесли на улицу, дотащили до своей телеги, что стояла за воротами больницы, и отправились в обратный путь.

В дороге подзаряжать доктора не пришлось, он спал беспробудно, даже обмочился. Не проснулся, когда его вносили в дом, обмывали и переодевали, точно покойника. «Покойник» храпел на всю ивановскую. Доктора положили на постель в Нюранину комнату, переселив девочку в подклеть.

На стене в дочкиной комнате несколько лет назад Анфиса повесила лубочную картину – волки бегут за санями, в которых мужик от зверей из двустволки отстреливается. Ерема был против этой базарной мазни, но Нюраня упростила отца оставить – она, засыпая, сочиняла сказки про волков и охотника, про лошадку, которой только бок виден.

Первым, что увидел Василий Кузьмич, были волки.

«Белая горячка, – подумал он, – делириум тременс. Наконец-то, давно пора. Но почему волки, а не черти или насекомые, как при классических симптомах? И почему волки статичны, не бегают, не грызут меня? Нетипичные проявления?»

Ужасно хотелось пить, горло драло, точно слизистые были забиты

сухим песком. На столике рядом с кроватью стоял кувшинчик. Не поинтересовавшись его содержимым, Василий Кузьмич схватил кувшинчик и припал к нему губами. Квас брусничный. Ядреный, шипучий, играющий газом, который залпом ударил в голову и вызвал слезы.

Комната. В доме небедных крестьян, коль смогли себе позволить лубочную картину во всю стену. Перина под ним и одеяло лоскутное чистое, без запаха прелого рабочего пота. Подушка в белой наволочке с кружевами-прошвами. Как он здесь оказался? И что на нем надето? Какое-то похоронное тряпье... Но алкогольный делириум определенно отменяется.

Когда он вышел в горницу, там находились Марфа и Прасковья. На докторе было солдатское, белой бязи белье – кальсоны и рубаха с завязками на рукавах и внизу портов. В свое время Анфиса тюк этого белья выменяла у колчаковского интенданта на золотник. Солдатское исподнее было доктору не по росту велико: рукава болтались ниже кистей, штанины закрывали ступни. Марфа и Парася знали, что привезли дохтора, что он спит в Нюраниной комнате. Но явление старичка, всего в белом, как покойник, со включенной седой бородашкой и одуванчиком волос на голове, нагнало на них страху.

– А-а-а! – закричали они хором. – Мама!!!

Василий Кузьмич застыл на пороге. Две беременные молодухи смотрели на него с ужасом и вопили, точно узрели привидение.

– Цыть! – хрипло гаркнул врач, привыкший разговаривать с сельскими бабами окриком, поскольку разумных речей они, как правило, не понимали. – Где я? Скит? Община староверов?

– Не-е-е, – проблеяла Марфа, – мы поповцы.

– У нас бо-большое село, – тряслась Прасковья. Набралась смелости и добавила: – Мой муж пар... партийный. Он сельсовета председатель!

Таким же смело-испуганным тоном она отгоняла бы нечисть: сгинь, я крещеная!

Распахнулась дверь, и вошла Анфиса, поспешившая на отчаянные визги невесток.

– Здравствуйте, Василий Кузьмич! Хорошо ли почивали? – ласково спросила она.

И потом в разговорах с доктором свекровь сохраняла удивительное для невесток подобострастие. В нем была изрядная доля насмешки, но заметной только близким, знавшим все оттенки ее голоса.

– Почивал? Где я? – воскликнул доктор.

– В добром доме, – ответила Анфиса. – Не помните меня?

– Вас? Я вообще ничего...

Анфиса вздохнула облегченно, потому что ей не хотелось быть узнанной.

– Сейчас принесут вашу одёжу, все чистое, постиранное, досушивается.

– Нет, позвольте! – Василий Кузьмич хотел сделать шаг вперед и чуть не упал, запутавшись в длинных штанинах. – Как я здесь оказался?

– Дык, приехали, – пожала плечами Анфиса. – Мои работники вас и привезли для принятия родов. Вот пациентки, – показала она на невесток.

– И все-таки я не понимаю! Что за варварство! Дичь!

– Ой, не говорите, дохтор! Такие времена настали дикие да варварские. Но у нас вы при полном почете, не обидим. Не прикажете ли, Василий Кузьмич, обед подать? Уха наваристая из свежесловленной стерлядки, хороши стерлядки, жирны, в котле с палец толщиной жиру. Также расстегаи с куриной печенкой...

– Да-да, обед – это хорошо. Я вспомнил. Два ваших лесовика приехали... У них еще с собой было... профильтрованное... на молоке...

– Конечно, – легко согласилась Анфиса, – почему рюмочку не принять для аппетита? Одну-то можно.

Обедая, обращаясь к женщинам – Анфисе Ивановне, Марфе и Прасковье, слушавшим его, подперев руками щеки, Василий Кузьмич рассказывал:

– Всякое было. Сколько раз меня умыкали-воровали. Красные от колчаковцев, бандиты от колчаковцев, не пойми кто какой политической раскраски. Но для врача не важны идеологические установки пациента! Как вы этого не понимаете? Прекрасная уха и расстегаи замечательные, тысячу лет таких не пробовал. Они меня таскали из лагеря в лагерь. Вышел покурить, а тебе мешок на голову, и гонят лошадей куда-то. А там опять раненые, но и оставил ты раненых, инструкций не дал, погибнут молодцы. Ведь большинство – молодые здоровые мужики, кормильцы, при надлежащем послеоперационном уходе выжили бы. Однажды... не помню, у кого было, у красных, кажется... нет, у белых... я организовал госпиталь практически идеальный, они санитарный обоз противника захватили, перевязочного материала и лекарств даже с избытком плюс два фельдшера – роскошь! На крышах палаток я велел жирные красные кресты намалевать. Не помогло. Артиллерийский обстрел из тяжелых орудий, и всех... всех моих прооперированных мальчишек, и фельдшеров... Налейте еще рюмку, что у вас тут за ограничения?

– Принеси, – велела Анфиса Ивановна Марфе.

И та по взгляду поняла, что бутылку на стол ставить нельзя, а наполнить рюмку нужно возле буфета, к доктору спиной стоя.

– Роды принимать, значит? Ах, милые дамы, знали бы вы, что из всех медицинских специальностей более всего мне нравились гинекология и акушерство. Еще студентом я ассистировал самому Дмитрию Оскаровичу Отту! – Василий Кузьмич поднял ложку и помахал ею в воздухе. – Он отмечал мои способности, предлагал остаться при кафедре. Кажется, недавно я об этом уже кому-то рассказывал? Однако романтический дух погнал меня в народ... Идеи земства, народных клиник... Принесла меня нелегкая в Сибирь, в народ, который...

– Народ глуп, – подсказала Анфиса.

– Совершенно точно! В массе своей невежествен, дремуч. Анфиса... простите, запамятовал, как по батюшке...

– Ивановны мы.

– Смотрю я на вас, любезная Анфиса Ивановна, – стрельнул хмельным глазом доктор, – и понимаю, что вы тут всему голова.

– Дык почему ж? У меня супруг имеется и два сына в возрасте.

– Знаю я вас, сибирячек! – погрозил ложкой доктор и хитро прищурился.

Анфисе было ясно, что его амурные утехы давно в прошлом, а сейчас он вхолостую бьет копытом, как старый конь-бегунец при звуке выстрела – «старт» – на бегах. Однако мужское внимание человека, в свое время ее мимоходом унизившего, было Анфисе приятно.

– Роскошные женщины! Ах, какие натуры! – продолжал витийствовать хмельной доктор. – Щедрость души необъятная, умственные способности выдающиеся! И при этом смиренная покорность ветхим заветам и правилам, подчинение грубой силе. Не просто подчинение, а нерассуждающая верность... Кому? Подчас быдлу, которое к ним по интеллектуальной шкале даже не приближается!

Слушая доктора, Анфиса улыбалась так, как только она умела: чуть растянув губы и хитро прищулив глаза. Эта ее улыбка могла обмануть чужих, посторонних, но не домашних. Мол, мелите языком, коль охота, а поступите все равно по-моему.

Анфиса посмотрела на невесток – не нахватались бы вольностей от докторского краснбайства. Но те сидели, застыв, точно идолы нехристей. Правда, идолы представляли собой большие каменные или деревянные чурки, отполированные ветрами и дождями, с угадывающимися очертаниями толстой фигуры и пухлого лица, а Марфа и Прасковья были

вполне живыми христианками, но застывшими, скованными, парализованными речами, которых прежде не слышали, смысла которых не понимали. И только робкие догадки стали пробираться в их дремучие головы. Анфисе эти догадки в головах невесток были ни к чему.

– Шо это вы тут битый час сидите? – Анфисиной улыбки как не бывало. – Делать нечего? Управились с работой? Волю взяли шлындать? Если я как добрая свекровь вам поблажку даю, так теперь по лавкам сидеть, ушами хлопать, глазами лупать?

Марфа и Прасковья вскочили, застывшие идолажи ожили и опять были вечно виновными, недоработавшими, не знавшими своего счастья невестками.

– Э-э-э! – засуетился доктор, схватил рюмку и принялся ею тыкать в Марфу. – Вот вы, которая наливала... Ты! Мне еще!

Марфа доктора будто и не видела, не слышала, не присутствовал он здесь, повернула голову к свекрови, взглядом спросила указаний. Анфиса в доли секунды осмотрела невесток и осталась довольна: поза почтительная, выражение глаз подобострастное, как и положено.

– Мне еще вашего зелья волшебного, – не унимался Василий Кузьмич.

– Конечно, – ласково отозвалась Анфиса, перетягивая на себя взор доктора. – Самовар-то не ставили, извините! Взвару горячего старшая моя невестка Марфа, – она ткнула пальцем в Марфу, – сейчас вам принесет. На пяти травах. Тетка моей невестки младшей, Прасковьи, – Анфиса указала на нее, – хорошо в травах сибирских разбирается.

Она забалтывала гостя и одновременно давала ему понять, что вольница самогон хлебать здесь ему не светит. И вообще, как он правильно заметил, всему голова тут Анфиса Ивановна, по ее милости будет сладко, а по ее гневу не поздоровится.

– Это, простите, – сотрясал в воздухе пустой рюмкой Василий Кузьмич, – какой-то доморощенный матриархат!

– Не судите, извините, – с нажимом произнесла Анфиса. – Мы люди простые, но при своих правилах и слов ругательных в доме не позволяем. А к взвару вам бызэ-пирожны подадут.

– Что? Безе? Здесь, в тмударакани?

– Супруг мой их уважает. Да вы сядьте, чего торчком-то? Бызэ-пирожны, по-нашему «кудрецы», на взбитых белках от яиц наших кур, которые, вы понимаете, не на фабричном подзаборье питаются. И с пух-сахаром. Дочка Нюраня вчерась сахар молола, на своих девичьих ладошках мозоли насадила. Может, вам не понравится, но по моему вкусу, из Омска привозили городские бызэ, нашим кудрецам уступают.

Василий Кузьмич устался на чашку прекрасного фарфора, которую поставила перед ним Марфа. Светло-коричневая жидкость в чашке издавала восхитительный аромат. Вторая, низкорослая невестка Анфисы Ивановны, кажется Прасковья, поставила перед ним маленькую тарелку, опять-таки от фарфорового сервиза, на которой лежали... Вообразить невозможно! Два пирожных: лепешки теста, а сверху фигурные башни снежно-белого, покрытого перламутровой тончайшей пленкой безе! Венчали пирожные ягодки клюквы с маленькими игривыми хвостиками.

– Ущипните меня! – изумился Василий Кузьмич. – Как на Невском... кафе «Доминик»... Божественно! Я, знаете ли, сладкоежка.

Он принялся уплетать пирожные, мурлыча от удовольствия, пачкая белым бороду и усы. Даже про самогон забыл.

Мало-помалу Анфиса взяла власть над доктором, и жил он, как и все в доме, подчиняясь ее законам. Василий Кузьмич подтвердил диагноз Анфисы о двойне у Прасковьи. Еремей выпилил доктору трубочку, напоминающую граммофонную в миниатюре. С ее помощью Василий Кузьмич прослушал сердцебиение плодов. Он так и назвал детишек в животах Марфы и Прасковьи – плодами, точно они растения, а не души христианские. А еще сказал, что предлежание у плодов правильное. Прасковье послышалось – «прилежание». Она заикнуться протестуя не посмела, но никаким прилежанием ее детки не отличались – постоянно устраивали кулачные бои без правил. Дату родов врач определил приблизительно – через месяц-полтора. Марфа и Прасковья не помнили толком, когда у них последние «крови» были, пришлось основываться на размерах плодов, которые доктор определял, измеряя портновской лентой животы беременных невесток.

Василий Кузьмич на Анфисиных харчах заметно поправился, округлился лицом и уже не походил на сморщенную лежалую репу. Кроме отличного питания, свою роль сыграли и почти ежедневные банные процедуры. Хотя когда доктора впервые повели в баню, случился афронт. Дорогому гостю привычные к зверскому жару мужики щедро поддали парку, доктор завизжал по-бабьи и выскочил на улицу в чем мать родила с криками: «Убийцы! Душегубы!»

Во дворе хлопотала Анфиса с невестками. Нагой красный старичок со включенными седыми бородой, усами и редкими волосами на голове, с одуванчиковым пушком по всему телу был бы смешон, если бы не напоминал ожившего героя детских страшных сказок – лесовика или болотного царя, которыми пугают ребятишек, чтобы они в лес не убежали.

Анфиса вытаращила глаза, а Марфа и Прасковья заверещали, подключившись к докторским воплям и едва не родив с перепугу раньше срока.

– Заткнитесь, дуры! – прикрикнула на невесток Анфиса. – Живо в дом!

Анфиса была на голову выше доктора и на два пуда тяжелее. Она легко захватила Василия Кузьмича, поволокла – он почти не касался ступнями земли, – подтащила к бочке с дождевой водой и мокнула в нее, погрузив доктора едва ли не по пояс. Через секунду Василий Кузьмич забулькал и принялся лихорадочно сучить ногами. Анфиса вынула его и усадила на землю. Пару раз зачерпнула воды из бочки и окатила доктора – для надежности, чтобы окончательно снять последствия жаркого удара. Василий Кузьмич кашлял, чихал, отплевывался, махал на Анфису руками и почему-то обвинял хозяев в том, что они устроили ему китайскую пытку.

«Коль ругается, значит, полегчало», – решила Анфиса. Она сняла фартук и набросила его Василию Кузьмичу на промежность. Хотя между ног у доктора болталось не великое мужское достоинство, а сморщенные шкурки в опушке седых волос, оставаться неприкрытым ему было нельзя – стыд размеров не имеет.

Отойдя от доктора, Анфиса развернулась в сторону бани. Из приоткрытой двери одна над другой торчали три головы – мужа и сыновей. Еремей и Степан сдерживали смех, Петр гоготал открыто. Анфиса показала им кулак: вот я вам!..

Василий Кузьмич прекрасно понимал, что на склоне лет ему, одинокому и неизвестному, обреченному умирать от цирроза печени в запущенной казенной квартирке, выпал удивительный шанс. Будь у него дети и внуки, они не смогли бы обеспечить ему того уюта, тепла и заботы, которые предоставила Анфиса Ивановна. Однако покориться темной деревенской бабе? Отдаться на ее милость? Юношеская взрывная дерзость навредила ему в молодости: вместо благополучной карьеры столичного врача получил галерную каторгу в сибирской земской больнице. И в зрелые годы не стал модным богатым врачом в Омске, потому что перессорился со всем начальством – от городских, низших полицейских чинов, до губернатора. Правда, та же самая неукротимая дерзость спасла ему жизнь во время революций, войн и восстаний. Василий Кузьмич не боялся ни красных, ни белых, ни кадровых военных, ни бандитов. У него был только один объект заботы, вернее – объекты, его больные, пациенты. В борьбе за их здоровье Василий Кузьмич мог обложить матом и рафинированного колчаковского офицера, и пропахшего вонючим смоляным дымом

партизана. И те пасовали перед бешеным доктором, который в копейку не ставит свою голову (легче простого пристрелить этого умалишенного, уж и револьвер наставлен ему в грудь), а за жизнь доходяг, что у него по койкам лежат, готов коршуном вцепиться, заклевать обидчиков.

Люди, независимо от статуса, образования, социального положения, всегда чувствуют истинное, настоящее – истинного пророка, настоящего врача, учителя. Тех выродков, у кого осознанно поднимается рука на истинное и настоящее, очень немного, даже в Библии их раз-два и обчелся. В невероятной кровавой мясорубке военно-революционных лет, среди десятков и сотен людей, потерявших дома и поместья, виллу на Ривьере или хутор, тяжким трудом выстроенный на отвоеванном у тайги участке, среди людей, чьих родителей, жен и детей зверски убили и не погребли, бросили гнить, чьи корни были обрублены жестоко и безвозвратно, не нашлось выродка, который лишил бы жизни Василия Кузьмича. На него много раз наставляли винтовки, наганы, ружья, в него тыкали ножами, саблями и даже вилами, его несколько раз ставили к стенке, его умыкали, увозили на санях, дровнях и поперек седла. Всегда – к другим пациентам.

И вот теперь его снова умыкнули! Спору нет – обстоятельства по нынешним временам райские, и обхождение в высшей степени почтительное. Но терпеть сибирскую Салтычиху, диктующую, сколько ему пить или не пить?.. Он прекрасно знает свой диагноз: вздувшаяся селезенка и окаменевшая печень не оставляют сомнений. Это его выбор! И если Анфиса Ивановна, царица Савская, возомнила себя хозяйкой его судьбы, она сильно ошибается!

Нюрания

Причиной бунтов Василия Кузьмича всегда был завуалированный отказ Анфисы налить четвертую, досрочную рюмку самогона. Три в обед, две за ужином, с утра только чай – таков был ее устав-рецепт для доктора.

Анфиса никогда не отказывала прямо и грубо. Растянув губы как бы в улыбке, при этом жестко сверкая глазами, она нараспев тянула:

– Дык лучше взвару, Василий Кузьмич, вашего любимого...

– Терпеть не могу это пойло, в него напихано неизвестно что!

– Дык почему неизвестно? Хорошие травки, ими от века запойных мужиков в чувство восстанавливали. А ко взвару пряники медовые? Или сахарной клюквы? Бызэ также имеется.

– Безе! – падал на лавку Василий Кузьмич и хватался за голову. – Если бы вы знали, Еремей Николаевич! – К Анфисиному мужу, с которым у него сложились дружественные отношения, Василий Кузьмич обращался как к последней инстанции, способной молчаливой поддержкой сохранить лицо перед Салтычихой, царицей Савской. – Если бы вы знали, сколь символично это пирожное для меня! Много лет назад... в Петербурге... Я нищий студент, практически Раскольников, от голода хоть старушку топором по голове, хоть в революцию. Зарабатывал уроками. Копейки! Зарабатывал не у гимназистов, слабых в алгебре или в химии, а у отпрысков сапожников и прачек, которым требовалось алфавит и арифметический счет в пределах десяти освоить, чтобы за казенный счет в школу поступить. Еремей Николаевич, вам не кажется, что библейское утверждение «кто умножает познания, умножает скорбь» имеет под собой глубокий смысл? Антигуманистический, циничный... но во многом справедливый? Выучили мы кухаркиных детей, черту оседлости убрали – а что получили? Но я, собственно, не об этом... Почему бабы застыли? Ставьте уж на стол взвар и несите ваши пряники. Еремей Николаевич, я вам не досаждаю своей болтовней? Нисколько? Благодарю! Представьте: промозглый Петербург Достоевского, я, студент, хронически голоден. Настолько голоден, что насмешки богатеньких однокурсников над моим платьем меня не беспокоят. Вечные копеечные подсчеты, диета почти исключительно мучная – я знал в округе все булочные, которые за бесценок вечером отдают черствые булки. Но город-то остается, наличествует столица! Экипажи, кучера-мордovorоты сытые, безумно прекрасные барышни в шляпках, при них кавалеры лощеные. Экипаж останавливается,

кавалер руку барышне подает, она выпархивает из экипажа в каком-то невероятном балетном движении. Швейцар распахивает перед ними двери кондитерской... Ах, какие на Невском были кондитерские! Филиппова, Абрикосова! В витринах чудеса архитектурного кондитерства: многоярусные торты все в оборочках и рюшечках, шоколадные фигурки, фрукты, покрытые глазурью. И мое самое заветное – безе! Сугробики обольстительной сладости! Для меня – символ жизненного успеха. Подчеркну – успеха, достигнутого личным трудом. Другого я не приемлю! А теперь перенесемся в настоящее, – продолжал Василий Кузьмич, впиваясь в пирожное и, как водится, пачкаясь белым. – Меня, уже шестидесятилетнего старика, судьба нежданно-негаданно награждает... безе. Такого не сочинил бы и Жюль Верн! Вы согласны?

– Наверное, – мягко заметил Еремей, – у каждого мужчины было свое безе в жизни.

Первый бунт Василия Кузьмича случился на третий день его пребывания в доме Медведевых. Одежду доктора постирали, вычистили и во многих местах подштопали. В привычных брюках и сюртуке он чувствовал себя уверенно, а хозяйка Анфиса с неслыханной дерзостью отказывала ему в рюмочке самогона.

– Дремучие люди! Десятый век! Украли, привезли меня сюда – и что?! – Василий Кузьмич расхаживал туда-обратно вдоль длинного стола в горнице.

За столом с противоположной стороны, у стены, сидели окаменевшие от страха Марфа и Прасковья, зачарованная, не знавшая, смеяться или пугаться, и потому грызущая ногти Нюраня и Анфиса Ивановна, сложившая руки на груди, с известной улыбочкой. Мужики отсутствовали, на работах были.

– Я человек науки! – разорвался Василий Кузьмич. – Я вам не деревенская повитуха, которая заговорами-приговорами голову невеждам морочит. Мне нужны инструменты и препараты! Где мой врачебный саквояж? Ваши дуболомы не потрудились захватить мой саквояж, мои книги и справочники. Приехали, скрутили, привезли! А дальше что, я вас спрашиваю?

– Будут саквояж и книги, – с готовностью ответила Анфиса. – Сейчас в город пошлю, привезут.

Врачебный саквояж Василия Кузьмича давно был пуст и погрызен мышами.

– Привезут они! Как у вас все быстро получается, матушка! Бумагу

мне, чернила и ручку! Где мои очки? Хорошо, хоть очки догадались прихватить.

Получив искомое, Василий Кузьмич сел писать письмо молодому коллеге. Бормотал:

– Любезный Михаил Петрович, в силу чрезвычайных обстоятельств... возобновил практику... не откажите по мере возможностей...

Он произносил вслух названия инструментов и препаратов, и, когда закончил, Марфа и Прасковья тряслись от ужаса. Пока доктор объяснял Анфисе Ивановне, кому передать письмо, невестки выскользнули на улицу.

Через некоторое время свекровь нашла их у риги – сидели рядышком, обхватив руками животы, и плакали навзрыд.

– Вы чего это?

– Так он... – тряслась Марфа, – резать нас будет... а потом иголками за-за-зашивать...

– И шипцами, – хлюпала Прасковья, – шипцами деток вытягивать ста-а-анет...

– Тьфу ты, дуры чертовы, прости господи! Мозги вам давно отрезаны, чужих не пришьешь. А шипцами я вам сама головы поотвинчиваю, если заслужите. Умолкните, окаянные!

Но Марфа и Прасковья продолжали безутешно рыдать. Пришлось Анфисе сменить тактику:

– Да нешто я дам своих невесток по живому резать или поиначе калечить? Вы ж меня знаете.

– Правда? – вскинулась Марфа.

– Матушка? – с надеждой воскликнула Прасковья.

– А чего ж он тогда за инструментами, нитками да иголками, скальпелями-ножами посылает? – осмелилась спросить Марфа.

– И за шипцами? – пискнула Прасковья. Щипцы напугали ее более всего.

– Зачем он тут?

– Я докторов боюсь!

– Зачем – не вашего ума дело, – отрезала Анфиса. – На всякий случай. Может, и не для вас доктора привезли, вы – попутно. Вам мои планы неизвестные. Ваше дело – доходить до родов спокойно, а не устраивать мне концертов симпанических.

Это она из разговоров мужа и доктора слышала про концерты, в которых много-много музыкантов одновременно играют.

Через некоторое время слова свекрови отчасти подтвердились – к ним стали приходиться всякие хворые и болящие. Марфа и Прасковья

успокоились, перестали доктора пугаться. Что же касается планов свекрови, то невестки никогда и не пытались постичь их мудрость.

Однако вначале Василий Кузьмич получил «научное» подкрепление.

От городского врача Аким привез скромный сверток – не мог Михаил Петрович многое предоставить коллеге. И вдруг Аким вытаскивает из телеги большой деревянный ящик, в котором, укутанные соломой, покоились баночки-скляночки, пузырьки, коробочки с порошками. На всех бумажки приклеены и не по-русски написано. Это от барышника, к которому Анфиса велела заглянуть: вдруг у того имеются медицинские предметы.

У барышника на тайных складах по Омску хранилось многое: активно расходуемое, вроде тканей и продуктов, и лежавшее на всякий случай, вроде церковной утвари или этого ящика с медицинской химией. Ценности ее барыга не понимал, а задаром в больницу или в аптеку отдать препараты жадность не позволяла. Лучше пусть стухнет, чем кто-то бесплатно воспользуется. Да вот и сгодилось – зачем-то Анфисе Ивановне понадобилось. Она читала записку от барышника и ухмылялась – дорого запросил, варнак. За что – сам не знает, но не продешевил, ой как не продешевил. Отношение Анфисы к партнеру по тайной торговле было двояким. Она его уважала, как уважала всякого делового человека, который не пронесет куска мимо рта. Но и брезговала: барышник вел себя как ненасытный паук-кровопивец, раскинувший большую сеть и сосавший кровь по капле и литрами, с малого и с великого, с мошки и с таракана. Его неутомимая голодная жадность была неблагородна и бесчестна.

Анфиса хотела отослать ящик обратно, мол, спасибо, мне не то надобилось, а за беспокойство вот вам пшена и солонины (это уж отчасти с издевательством). Но тут увидела реакцию Василия Кузьмича на содержимое ящика. Дохтор хватал пузырьки и коробочки, читал названия, благодарил Бога и нечистого, даже трясся от возбуждения. Если бы перед ним был сундук с золотом и камнями драгоценными, Василий Кузьмич вряд ли так восхищался бы.

– Что это?.. Ах!.. А это? Матерь Божья! Что тут?.. Немыслимо, черт заberi! Откуда? Анфиса Ивановна, откуда такое богатство?! – восклицал он, потрясая какими-то склянками.

– Дык вы просили, – пожала плечами Анфиса.

Ей не нравилось, что к ним во двор стал шастать народ. В селе и в окрестных деревнях много больных. Прослышав, что настоящий дохтор поселился у Анфисы Турки, которая и сама врачевательница, а значит,

доктор особенно ценный, хворые всех мастей потянулись к их воротам. Бывало, на лавочке сидели по несколько человек, очереди дожидались.

Отпустить доктора наносить визиты Анфиса не могла, ведь его в благодарность обязательно напоят, но и видеть у себя в доме ледащих да немощных, баб с младенцами и скрюченных стариков она не желала. Василию Кузьмичу предоставили чистый сарай, прежде используемый для хранения шерсти. Еремей прорубил большое окно, чтобы хватало свету, сделал лежак и полки для инструментов и препаратов, работники принесли стол и стулья. Василий Кузьмич называл свой кабинет «амбулатория». Остальные со свойственной сибирякам привычкой подправлять русские слова (амбар – анбар, общество – обчество, доктор – дохтор) именовали бывший сарай «анбулаторией».

В качестве заменителя спирта Василий Кузьмич использовал крепчайший Анфисин самогон. Чтобы доктор не позарился на спиртное, она добавляла в самогон настой из копытень-травы, коры и листьев красной бузины. Этот настой был чудовищно горьким, несколько капель, добавленных в чашку воды, служили рвотным средством при отравлениях. Пить «лечебный» самогон с копытнем и бузиной не отважился бы никто, даже Василий Кузьмич. Он делал вид, что не замечает подобных ухищрений Анфисы Ивановны. Его бунты становились все реже и никогда не приводили к победе, поэтому лишний раз затевать ссору с кормилицей Салтычихой смысла не имело, тем более что он нашел другой источник алкоголя.

Возникла была проблема с платой за лечение. Гордый сибиряк скорее умрет, если нечем платить доктору, но Христа ради не потащится о помощи просить. Небогатые дары получал Василий Кузьмич – десяток яиц, синюшный маленький петушок ощипанный, крынка меда, плошка масла, мешочек кедровых орехов... Но ведь последнее приносили, своим детишкам питание урезали. Кто продуктами не мог расплатиться, отдавал носимые вещи – вареги и голицы (вязанные и кожаные рукавицы), бокари (мягкие сапоги из оленьих шкур), шали, полотенца, постельное белье. Василию Кузьмичу подобный «гонорар» был не нужен. Анфисе Ивановне гордость не позволяла присваивать его заработки: дохтор не мерин, которого она в аренду сдает.

Выход нашел Еремей:

– Пусть Степан докторский гонорар, – (он любил новые слова), – отвозит в свои бедняцкие артели, даром что урожай собрали, у них ветер по анбарам гуляет, еще те крестьяне.

Так и повелось. Анфиса периодически большаку говорила:

– Степка! Хонорару набралось – некуда складывать. Отвези своей голытьбе.

Степана поразило великодушие матери. Прижимистая, зернышка мимо ее взгляда не упадет, а тут вдруг тещиной семье значительно помогла, чужим неизвестным беднякам продукты и вещи отсылает. Он решился заговорить с ней об этих удивительных превращениях сознания.

– Мать, в тебе проснулось классовое понятие? Я очень душевно рад.

Анфиса посмотрела на него с презрением:

– Ты еще погыгыкай, как Петька. Рад он! Отчего это я проснулась? Когда это я спала?

– Но ты же добрые дела... бедным помогаешь...

– Эх, Степа! Нет в твоём уме продолжения. В точь как у отца, хоть и по другой части. Иные копеечные добрые дела такую коммерческую ценность имеют, что за миллионы не купишь.

Если разбить жизнь Степана от детства до зрелости на периоды, то в каждом из них мать его поражала, как отрицательно – жестоким кулацким самодурством, так и положительно, верно предчувствуя дальнейшие события. Но покоряться ее воле он не желал. Мать его в фарш смелет и вылепит, что ей требуется. Не на того напала... Правильнее сказать – не того родила.

– Я думал, а ты... Мироедка, кулачиха! – смотрел на нее большак с ненавистью.

Анфису эта ненависть ранила, но со стойким упорством почти каждый день она же эту ненависть возбуждала в сыне. Зачем? Анфиса не могла бы ответить. Так чувствовала, не теряла надежды увидеть в сыне продолжателя своего дела. Мать воспитывает сына до гробовой доски, да и после память о ней тоже воспитывает.

– Обзывай мать! – разорялась Анфиса. – Вот чему тебя Карла Маркса и жид проклятый научили! Тебе чужие голопузые беспорштанники дороже родительского гнезда! У тебя жена полудохлая сегодня-завтра заморышей родит, которые и недели не проживут! А ты давай! Социализму в Сибири устанавливай, чтоб пролетарии всех стран соединились. Мало нам своей нищеты, зови чужестранную!

В агитлисточках, которые Степан приносил в дом, было написано: «Пролетарии всех стран – соединяйтесь!»

Анфиса не давала сыну слова вставить, ему досталось и за марксистско-ленинское учение, и за мировую революцию, и за то, что он, большак, в семейном хозяйстве хуже инвалида-нахлебника.

Степана трясло: покраснел, ноздри раздулись, губы дрожали. Он с

размаху ударил кулаком по столу с такой силой, что иконы в красном углу зашатались.

– Молчать! – заорал Степан.

Он поймал себя на том, что походит сейчас на казацкого есаула, которого в свое время в их отряд взял Вадим Моисеевич для обучения новобранцев. Когда-то у есаула, возможно, имелись и терпение, и такт, и понимание, но на момент подневольной службы в отряде красных все закончилось. Есаул не переносил неправильно выполненных упражнений и все время орал: «Молчать! Делать, как я сказал! Молчать!» – хотя его никто ни о чем не спрашивал.

Анфиса сложила руки на груди и уставилась на сына с известной улыбочкой.

– Ты... ты... – заикался от гнева Степан, пытаясь вычленить из материнских обвинений главное. – Ты почему про мою жену? Какая полудохлая? Почему мои дети не жильцы?

– А почему здесь доктор? Задумывался?

Не дожидаясь ответа, Анфиса развернулась и вышла из дома. Последнее слово всегда должно было оставаться за ней.

На лавке около крыльца сидел Еремей, что-то вырезал из чурбака. Он все слышал, но, как водится, не вмешивался.

Поднял голову и спросил с усмешкой, как только он умел – вроде и по делу, но как будто сам к этому делу причастности не желает:

– Нашла с кем гордостью меряться, Турка. Уж воистину: тебе диавол чванством кафтан подстегал. – Подхватил чурбачок, инструменты и, не дав Анфисе слова возразить, пошел прочь.

Анфиса покрутила головой – надо на ком-то отыгаться. Невестки пока временно объект неподходящий, дочка куда-то убежала, доктора не тронь, он от любых переживаний за рюмку хватается.

– Аким! Федот! – завопила Анфиса.

И всыпала им по первое число за нечищенный скотный двор, за не вывезенный на огороды навоз, за прореху в заборе... В большом хозяйстве всегда найдутся недоделки.

Аким и Федот боготворили хозяйку, ценили ее гнев и милость. Гнев, пожалуй, даже больше. Потому что Анфиса Ивановна гневалась исключительно на своих, родных. С чужими и посторонними она была равнодушно-сдержанной.

У Василия Кузьмича появилась неожиданная помощница – Нюраня. Пятнадцатилетняя девочка не боялась крови, не брезговала вскрывать и

чистить гнойники. У нее были легкие умные руки, и скоро Нюраня научилась делать перевязки так же ловко, как доктор. Анфиса занятиям дочери не противилась – лучше, чем по улицам гонять, да и всякой бабе медицинские навыки только на пользу. Но когда доктор как-то назвал ее дочку «моя ассистентка», Анфиса возмутилась. В отличие от мужа, она не любила новых слов, подозревая в них замаскированные ругательства. И только те слова, которые брал на вооружение Еремей, объясняя ей смысл, она принимала, допускала к звучанию в доме. Анфиса опасалась, что к Нюране приклеится и пойдет гулять по селу неблагозвучное прозвище Ассистентка.

– Санитарка вам тоже не понравится? – спросил Василий Кузьмич. – Я на чины не жадничаю, пусть будет сестрой милосердия.

Доктор пребывал в добром расположении духа: под хмельком, но не пьян предсонно. Обычно в таком состоянии он говорил Анфисе Ивановне комплименты – интересничал. А через несколько минут, если накачивало жгучее желание добавить, мог наорать на хозяйку, обозвать ее Салтычихой или царицей Савской.

– Я и свидетельство выпишу. – Доктор взял бумажку, окунул перьевую ручку в чернильницу. – Справку? Как у них теперь называется? Мандат?

– Не, – сказала Нюраня. – Мандат – это когда реквизируют. К нам один раз приехал конный дядька, показал мандат, а там написано: «Выдан Игнатову Петру с правом реквизировать разную собственность». Так мама схватила оглоблю и закричала на Игнатова: «Я тебе намандачу! Я тебе так намандачу, что забудешь, как к бабам подходить!» И прогнала его со двора.

– Тогда справка, – сказал Василий Кузьмич и вывел это слово в середине строчки. Далее он писал, бормоча себе под нос: – Выдана Анне Еремеевне Медведевой в том, что она трудилась на должности сестры милосердия в Погореловской амбулатории Омской губернии в одна тысяча девятьсот двадцать четвертом году. Подпись: врач... А почему так скромно? Главный врач! Вэ Ка Привалов. Эх, печати не хватает!

– Печать мне тятя сделает. – Нюраня взяла «справку», подула на нее, чтобы высохли чернила, и поскакала к отцу просить печать вырезать.

Ерема ни в чем не мог отказать любимице. Только печать он круглую вырезал с двуглавым орлом в центре, а Степа, посмеявшись, сказал, что теперь в печатях вместо птицы дохлой серп и молот. Нюраня опять к отцу канючить. Вырезал Еремей и вторую печать. Так два отпечатка и красовались на шутейной справке.

Никто и предположить не мог, что этот документ сыграет в судьбе Нюрани спасительную роль.

Еремей Николаевич смастерил и откалибровал аптекарские весы, точно отмеряющие миллиграммы химических веществ, и доктор с Нюраней делали лечебные порошки, мази, настои. Для последних был нужен спирт без ядовитой травы, Нюраня тихо подворовывала самогон из кладовой и скрывала от матери, что Василий Кузьмич его «дегустирует в научных целях».

Амбулатория как пиявка присосалась к Анфисину хозяйству и не закрылась даже после родов невесток, до холодов. Василию Кузьмичу некуда было податься, так и прилип к Медведевскому семейству. По сути, был приживальщиком, хотя таковым себя не считал, так как зарабатывал гонорар врачебной практикой.

Доктору требовались плошки, ступки и другая посуда, бумага, чтобы заворачивать порошки по дозам, тонкая холстина, которую резали на бинты. Врачу и «сестре милосердной» сшили белые халаты, распоров и перекроив солдатское белье. Анфиса хотя и ворчала, хотя и считала каждый аршин холста, хотя и попрекала каждым листом бумаги, вырванной из никому не нужной книги, но на докторский «хонорар» по-прежнему не зарилась. А если кто-нибудь принимался хвалить ее за бескорыстие, Анфиса злилась. Подобные похвалы были для нее равносильны обвинению в хозяйственной расточительности. Прибавилось стирки – Василий Кузьмич требовал каждый день свежих простыней, халаты тоже обязаны быть без пятнышка. Анфиса помнила, что при первом знакомстве халат доктора не показался ей снежно-белым, а тут он волю взял, придирался, по три раза на день заставлял кипятить шприцы и иголки. С другой стороны, Анфиса всегда сама была чистоткой каких поискать, а Василий Кузьмич подводил под санитарные правила научную основу, рассказывал о микробах, которые переносят заразу.

Для Еремея доктор стал интересным собеседником, и в глазах мужа Анфиса уже не часто видела выражение скуки и тоски, которое она легко прочитывала как желание все бросить и отправиться туда, где не придется надрываться постылым крестьянским трудом. Еще один плюс от присутствия Василия Кузьмича.

Нюране, чтобы превратиться во взрослую девушку, оставалось чуть-чуть – годик-полтора. Она была высокой, длинноногой и длиннорукой, уже не угловатой по-детски, но еще не плавной по-девичьи. Нюраня походила на олененка или на телочку-подростка, с тонкими конечностями, на которых бугрились суставы, а косточки еще не обросли мышцами и жирком. Волосы у Нюрани были густыми и крепкими, как у всех Турок, не

смоляно-черные, как у матери, а в рыжину, на солнце они играли медным переливом. Цветом кожи девочка пошла в отца – не смугла, белолица. По носу и щекам россыпь точечных рябинок-конопушек. Нюраня была красивее матери, но Анфиса в возрасте дочери была уже статной, с гордостью во взоре, со значительностью в повадках, что действовало на людей завораживающе, подчиняло их. А тот, кому ты подчиняешься, всегда кажется исключительным. У хорошенькой Нюрани значительность отсутствовала напрочь. Она была суетлива и вертлява: носом крутит, глазами стреляет, губами играет, руками машет, на месте притопывает – какая уж тут красота у девки, за которой не уследишь. Правда, в анбулатории Нюраня вела себя смирно, пытливо и сосредоточенно постигала медицинские приемы. Через месяц Василий Кузьмич стал поручать ей инъекции, в том числе и внутривенные диффузии. У него самого часто так дрожали руки, что попасть в вену не мог. Скинув же халат, Нюраня пулей неслась на улицу. В играх со сверстниками, в салках и казаках-разбойниках никто, даже мальчишки постарше, не могли ее догнать, Нюраня мчалась по дорогам и тропинкам, по жнивью, по кручам и оврагам, точно молодой бегунец-чемпион.

Как отец и брат Степан, она тянулась к необычным, талантливым людям, к тем, кто многое повидал и может об этом рассказать, кто, вроде Туси, знает множество былин, быличек, сказок, стихов, чей внутренний поэтический мир наполнен романтическими героями. Люди простые, правильные, обыденные казались ей похожими на заведенные часы – тикают изо дня в день одно и то же «тик-тик», скукота.

– Эта шальная девка, – говорила Анфиса мужу, – выскочит за первого встречного варнака, который задурит ей голову баснями.

Еремей пожимал плечами: мол, что волноваться раньше времени, да и как жизнь сложится, никто не знает.

– Пусть только попробует, – продолжала Анфиса. – Я ей косу на шею накручу и к потолку подвешу. Будет висеть, пока я нужного супруга не подберу.

– Сама-то ты долго висела? – усмехнулся Еремей.

– А ты меня не сравнивай! Я несравненная.

– Ну-ну, главное, что скромная.

До появления в семье Василия Кузьмича Нюраня не знала, в чем ее собственная талантливость и необычность. Она помнила много стихов, сама сочиняла сказки и рассказывала их подружкам, хорошо рисовала, почти как отец, у нее была прекрасная, как у Петра, математическая

память. Степан привозил ей книжки, и Нюраня их послушно читала. Но книжный мир ее не очаровывал, он был сух и слишком отвлечен. Чтобы увлечься, зажечься, ей требовался живой человек – его голос, жесты, мимика.

Она навсегда запомнила вечер, когда вдруг открыла себя, когда сердце затрепетало: «Мое! Этого хочу всей душой!» Точно что-то проснулось в ней, родилось и забурило с возбуждающей радостью.

Отец и Василий Кузьмич спорили о красоте. Папа говорил, что красота встречается только в природе, в окружающем мире или, редко, бывает сделана человеческими руками.

Василий Кузьмич не соглашался:

– Помилуйте, сударь! Человек – вот истинный венец творения! Человеческое тело прекрасно! Вспомните греческие и римские скульптуры, живопись Возрождения. Они гениальны!

– Так я и не отрицаю, что создать руками возможно.

– А человеческий организм? Он уникален!

– Видел я его, вспоротый организм. Мало от свиньи отличается.

– Ах, боюсь, я не смогу вам объяснить красоты анатомии и ее связи с физиологией! Но, любезный Еремей Николаевич! Возьмите человеческий мозг. Он непостижим! Помяните мое слово, еще не одно столетие люди будут биться над величайшими загадками мозга. Почему один человек музыкально одарен, а другой туг на ухо? Один буен и неводержан, а другой смирен как овца. Один учится легко, играючи, а другой на пальцах считает. В чем отличие их мозга? Моего, вашего, Нюраниного, Петра, милейшей Анфисы Ивановны? Природа спрятала мозг за крепкими костями черепа. – Василий Кузьмич постучал себя по лбу. – Сердце и легкие – за решеткой ребер, – он приложил ладонь к груди, – а мозг, самое ценное, упрятала в крепость. Мозг плавает в специальной жидкости, как ребенок в утробе матери. Мы знаем до обидного мало. При травмах той или иной части головы или при внутренних кровоизлияниях наступают те или иные нарушения – зрительные, слуховые, пропадает речь, нарушается координация, а бывает и вовсе: вчера здоровый человек превращается в тихо помешанного. Значит, там, в мозге, находится участок, отвечающий за определенные функции. Но как он работает? Мозг – это командир, высшая власть, бог, если хотите. И в его обитель мы еще не допущены даже на порог. Топчемся за воротами, шаркаем по траве, грязь с сапог пытаемся очистить. А вы говорите – цветочки-листочки!

– Я говорю про красоту, – напомнил Еремей.

– Да вы, батенька, поборник чистой красоты? Было такое направление

в философии... забыл, как называется. Не важно. Оно ошибочно! Красота всегда функциональна! И ваши листочки-цветочки функциональны. Я говорю сейчас не о природной жизни растений. Именно об эстетической стороне. Вы смотрите на цветочек и восхищаетесь его внешней красотой. Ваш мозг доволен, ему приятно. Зачем, скажите на милость, вы выстроили такой чудо-дом? Почему, по большому счету, человек вообще выбрался из пещеры, из землянки, из хижины? Ведь в них тоже можно жить и не чесаться. Нет! В человеке заложена функция красоты, удовлетворяемая через творения рук. Но и сам человек красив, потому что функционален в высшей степени. Возьмите... Вот, – схватил Василий Кузьмич руку Нюрани. – Человеческая кисть. Величайшее творение! Верьте мне, никогда не будут созданы механизмы и машины, способные заменить кисть человека. И дело тут не только в том, что машина не способна рисовать, как Леонардо, или играть на рояле, как Бетховен, или вырезать деревянные кружева, как вы.

– Благодарствуйте, что в столь почетную компанию меня записали, – улыбнулся польщённый Еремей.

Василий Кузьмич его не слушал, горячо продолжал:

– В кисти тридцать косточек! Вот тут, – тыкал он пальцем в Нюранину ладонь и гнул ее пальцы, – ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная, трапециевидная, головчатая, крючковидная, далее пять трубчатых костей, следом кости пальцев – проксимальная, средняя и дистальная фаланги. Все они работают благодаря тридцати трем мышцам. Тридцати трем! Плюс фантастическое переплетение сухожилий. Оперировать кисть чрезвычайно трудно. Сухожилие... это как каучуковая лента. Не сшил его в первые часы после травмы – пиши пропало, сухожилие убежало. Сломалась косточка, ты зафиксировал отломки, но маленький сустав без движения застывает, и палец скорее всего будет торчать как перст указующий, не гнуться.

Отец и Нюрания кивнули: они много видели людей с калечеными кистями, ведь крестьяне работали с острыми инструментами и часто резались.

– Кисть, – говорил Василий Кузьмич, – в ходе эволюции превратилась не просто в орудие труда. Она орган осязания. – Он приложил Нюранину ладонь сначала к теплему боку самовара, потом к столу, повозил из стороны в сторону. – Горячо, холодно, гладко, шершаво. И наконец, это средство общения, – скрутил из Нюраниных пальцев фигу и показал отцу. Выдохся, отпустил ее руку и плюхнулся на скамейку.

– А какой палец самый главный? – спросила Нюрания.

– Хороший вопрос, – похвалил Василий Кузьмич. – Ну те-с, Еремей Николаевич, какой из пальцев важнейший?

– Большой, наверное. Без него ухвата нет.

– Верно. В древности пленным воинам отрубали большой палец, чтобы они более не могли держать оружие и участвовать в сражениях.

Отец и доктор продолжили спорить о красоте, но Нюраня их больше не слушала. Она рассматривала свои руки – такие привычные и, оказывается, удивительные. Запускала пальцы под волосы и давила на кость, точно хотела проверить ее крепость или расковырять до мозга.

Тело человека – удивительное творение, в этом она была всей душой согласна с доктором. И более всего ей, Нюране, хочется постичь это творение, исправлять травмы и болезни – лечить. Хочется до спазма в горле и сладкого томления в груди.

Василий Кузьмич привязался к своей ученице. Он не смог бы определить своих чувств к девочке: было ли это умиление, которое он испытывал бы, имея дочь или внучку, трогала ли его расцветающая женственность Нюрани, веселили игривость, резвость и вытаращенные глаза, когда она со смесью внимания и трудно сдерживаемого восторга внимала докторской науке. Одно было бесспорно: в сибирской глухомани он встретил сокровище – милую девочку с задатками истинного врача. Василий Кузьмич перевидал на своем веку немало эскулапов. Большинство – ремесленники-середнячки, без полета и откровения, малая часть – те, кого к пациентам на пушечный выстрел подпускать нельзя, и такая же малая – лекари от Бога. В Нюране он предвидел врачевателя от Бога, а себя беспристрастно относил к ремесленникам.

– Тебе бы учиться, – говорил Василий Кузьмич девочке, «дегустируя» разбавленный водой самогон.

– А где на докторов учат? И женщин берут?

– Конечно. Мой учитель Дмитрий Оскарович Отт, между прочим лейб-акушер Императорского двора, был директором Повивального института, открытого еще императрицей Марией Федоровной, супругой Павла Первого. Дмитрий Оскарович добился для выпускниц равных прав с мужчинами-врачами.

– Мать не отпустит.

– В Омске на базе ветеринарного техникума открыли медицинский институт...

– Только если с братом Степаном поговорить, он добрый и за прогресс народов.

– Уж не знаю, чему там ветеринары научат.
– Но для мамы и Степа не указ.
– Без сомнения. Ты лучше не заикайся об этом, а то запретит в амбулаторию ходить. Кроме того, для поступления в институт требуется знать физику и химию, естественные науки, а ты о них не имеешь ни малейшего понятия.

– А где они наберут имеющих про науки понятия? – разумно спросила Нюряня.

Потом она у Степана выяснила: при институте имеется подготовительное отделение для «беспонятных». Кто его закончит и хорошо экзамены сдаст, поступает в студенты.

Так у Нюряни появилась мечта, настолько смелая, что от робости дух перехватывало. Ничего, за три года, которыми еще нужно взрослеть, Нюряня как-нибудь с робостью справится, и с мамой тоже.

Роды

Прасковья переносила беременность тяжело, а родила легко. В обед начались схватки, быстро отошли воды, и через три часа на свет появились два мальчика. Бабка Минева, которую Анфиса пригласила на всякий случай и которую Василий Кузьмич назвал народной акушеркой, обмывала детишек и пеленала. С ее точки зрения и к удивлению доктора, Анфиса проявляла странное равнодушие к родившимся внукам, пеклась о невестке: полностью ли отошло детское место, нет ли признаков кровотечения.

– Анфиса, да глянь ты на молодцов! – позвала Минева. – На руки возьми.

– Чего на них глядеть? – буркнула Анфиса.

Но все-таки подошла. Два запеленатых столбика, два красных сморщенных личика. Анфиса набрала в грудь воздуха для горестного вздоха и застыла, не дыша, таращась на младенцев. Потом осторожно положила на их тельца ладони.

Ни слова не говоря, на ватных, непослушных ногах Анфиса вышла из комнаты, молча прошла по горнице и скрылась в спальне. Ерема бросился за ней. Как и Марфа с Нюраней, он отлично слышал детский плач, но у жены было такое лицо...

Анфиса сидела на кровати, руки безвольно висели, глаза смотрели в одну точку на противоположной стене. И самое поразительное – из глаз жены градом катились слезы, текли по щекам, капали на грудь... Анфиса и слезы – это небывальщина. Она не плакала ни в горе, ни в радости. Еремей подозревал, что у его суровой жены вовсе отсутствует орган, производящий слезную влагу. Хотя рассказывали, что, не отпуская Степку на войну, Анфиса рыдала – стены тряслись, лицо себе оскребала, до сих пор шрамики видны. «Бывают слезы редки, да едки», – вспомнил пословицу Ерема, но вслух не произнес.

– Фиса, что? – спросил он. – Еще живы вроде, но скоро преставятся?

Анфиса была твердо убеждена, что Прасковьины дети не жильцы, и мужу это внушила. Она заранее вычеркнула первых внуков из семейного списка, и поэтому ее расстройство было странно Еремею. Еще несколько дней назад Анфису даже не волновало, успеют ли они окрестить детей, или те умрут некрещеными.

Она механически, будто кукла, перевела взгляд на мужа, не двигая глазами, а повернув голову. Как ни был испуган Еремей, он отметил, что

никогда не видел жену столь прекрасной. Большие черные глаза, распахнутые, молодые, омытые слезами. Пухлые яркие дрожащие губы. Выражение беспомощности, к которому ее лицо было непривычно, казалось особенно трогательным, как и слезы, которые все катились и катились, точно где-то внутри Анфисы был спрятан крепко запечатанный сосуд, а теперь его прорвало и хлынувшая течь неостановима.

– Ерема! – прошептала Анфиса и протянула к нему руки.

Он бросился вперед, оступился и упал на колени, не поднимаясь, обнял жену крепко. Теперь она заревела в голос, навзрыд, икая, выкрикивая нечленораздельные слоги. Ерема тоже заплакал, сам не понимая почему.

– Еремушка, родной мой, – постепенно Анфиса уняла заикание, – внуки наши... Степины детки... они жить будут... они не помрут, я чувствую, я знаю... Радость какая непереносимая! Счастье в сердце не помещается...

– Ну что, что ты? – гладил Ерема жену по спине, терся о ее плечо лицом, промокая слезы. – Все ведь хорошо.

– Очень хорошо! Наврала мышь проклятая, напраслину каркала.

– Ты о чем, Фисонька, какая мышь каркает?

– Да это я так... Не буду сейчас об этом... Ой, Ерема, ты чего? – плакала и улыбалась Анфиса. – Ты чего, дедушка, удумал?

Муж расстегивал ей блузку на груди.

Жалость к женщине всегда возбуждала его. А сейчас жалость смешивалась с ликованием, с восхищением женой, которая открылась ему обликом неожиданным и прекрасным.

– Крокодилица? – не без лукавства спросила Анфиса, откидываясь на кровать и принимая тяжесть мужниного тела.

– Нет, – пробормотал Еремей и без обычной издевки, ласково-страстно добавил: – Королевна!

Их слезы смешались, и тела сплелись.

Радость и счастье – негаданные, противоположные ожидаемым событиям и потому еще более острые и сильные, слезы восторга – все это смело в Анфисе напластования внутренних запретов и железных правил, никогда, впрочем, и не ощущавшихся ею как насильственное подчинение чужой воле, чужой морали. Правила и ограничения Анфиса сама себе установила. Но от этого они не становились легче или необязательнее. Теперь же ее чувства оголились, точно ветки и веточки от коры очистили и стали они нежно-бело-зелеными, против старых – корябанных, сухих, коричневых.

Впервые в жизни Анфиса чутко откликалась и телом, и дыханием, и

стуком сердца на ласки мужа. Необычность ощущений была настолько поразительной, что Анфисе казалось, будто она – уже не она, а какая-то другая женщина, влезшая в ее тело и получающая неземное удовольствие. В финальном толчке их голоса слились – победно-освободительный стон Еремы и протяжный неукротимый вой Анфисы.

Марфа и Нюраня сидели в горнице. Они видели, как сама не своя скрылась в родительской спальне мать, как бросился за ней отец. Им казалось, что слышны рыдания Анфисы. Но ведь она никогда не льет слез! Да и детишки в соседней комнате плакали хоть и тоненько, но дружно и требовательно. Значит, живы-здоровы.

– Может, с Парасенькой что? – прошептала Марфа. – Отходит?

– Типун тебе на язык! Василий Кузьмич шприцы бы потребовал для инъекций, случись что.

– Или шипцы...

– Марфа, какие шипцы, когда дети уже родились?

И тут из родительской спальни донесся стон-вой. Марфа и Нюраня испуганно схватились за руки.

– Надо Василия Кузьмича кли-кликнуть, – проклацала зубами Нюраня.

Точно подслушав, он сам вышел в горницу.

– Где Анфиса Ивановна? – Доктор привык к тому, что все в доме решает хозяйка и без ее приказа никто шагу ступить не смеет.

– Они там... такое, – дернула головой в сторону родительской спальни Нюраня и тут же заткнулась, потому что Марфа больно двинула ей локтем в бок – молчи!

Марфа хорошо помнила этот стон свекра.

– Черт знает что! – недовольно проворчал Василий Кузьмич. – Все куда-то подевались. Марфа! Ты чего таращишься, как бешеная рыба?

– Детки? И Парасенька?

– Все в порядке. Вот что, Марфа, налей-ка мне из графинчика, что в буфете.

– Дык ключи у Анфисы Ивановны...

– Дык-дык! – передразнил доктор. – У тебя речь из одних междометий состоит.

– Извините!

– Василий Кузьмич, а мальчики хорошенькие? – встряла Нюраня, уже забывшая про странные звуки из родительской комнаты.

– Откуда ты знаешь, что мальчики? Под дверью подслушивала? – погрозил он пальцем.

- Можно на них взглянуть, хоть чуточку-секундочку?
- А ты не сглазливая? – притворно нахмурился доктор.
- Нет, – ответила за нее Марфа.
- Вы же в сглаз не верите! – Нюраня вихрем пронеслась мимо него. Следом, тяжело переваливаясь, поспешила Марфа.
- Она подошла к лежащей на постели Прасковье:
- Сестренка!
- И обе заплакали, тихо и счастливо.

Нюраня крутилась около младенцев и засыпала вопросами бабу Миневу:

- Почему они такие красные?
- Вот на Божьем свету чуток побудут и посветлеют. До того ж все в темноте пребывали.
- А почему нахмуренные, на недовольных морщинистых старичков походят?
- Дык есть хотят.
- Им больно было рождаться?
- Не больней, чем их матери. Да и кто знает? Не спросишь.

Прасковья и Марфа шептались. Марфа на ушко расспрашивала сестричку, больно ли ей было, не терзал ли доктор шипцами, не резал ли? Прасковья успокаивала Марфу и все косилась на столик, где лежали сыночки.

Прасковье теперь казались нелепыми их опасения. Да многие недавние страхи и заботы вдруг отошли на задний план, стали неважными. С рождением детей Прасковья превратилась в другого человека, как волшебную реку переплыла – с берега спустилась пугливой молодницей, а вышла на другой берег матерью. Эту реку нельзя переплыть обратно, и то, что осталось за спиной, навеки скрылось за кручей. Нечто подобное было после замужества: из девок в бабы – однако по силе чувств несравнимое. Марфа же осталась в старой жизни, и сейчас ее расспросы досаждали Прасковье.

Она приподнялась на локте и спросила с волнением:

- Бабушка Минева, покормить их надо уже?

Нюраня в это же время интересовалась, почему в тазу тряпки кровавые и что за печенка в миске на полу.

- Иди, девка, у доктора своего выпытывай, – отослала ее Минева, – много будешь знать. – И обратилась к Прасковье: – Отчего ж не покормить? Расцедить грудь надо, чтобы тугосиси не было...

Нюраня знала, что тугосиси – это когда у коровы после первого отела

плохо молоко из вымени течет.

– У женщин как у коров? – спросила Нюраня.

– Кому сказано – геть! – прикрикнула Минева.

Марфа и Прасковья тоже глазами просили ее удалиться.

– Ну и пожалуйста! – вскинула голову Нюраня, направляясь к двери. – А Василий Кузьмич знает, что вы кормить младенцев вздумали?

– Да что ж это? – всплеснула руками Минева. – Нам теперь без его позволения и сиську ребенку не дать?

Старуха была обижена тем, что подвергли сомнению ее мастерство и на роды невесткам Анфиса дохтора привезла. Правда, несколько дней назад доктор вправил Миневе какой-то позвонок на вершок повыше копчика, и застарелая боль в спине стала проходить. Но сибирячки обиды быстро не забывают.

– Как по его учению, мне не ведомо, – бурчала Минева, – а по-нашему, первые капли материнского молозива от золотухи ребеночка уберегут.

– Давайте, давайте, – нетерпеливо замахала руками Прасковья.

– Которого первым? – хитро прищурилась Минева. – Левого али правого?

– Ой! – испуганно захлопнула Прасковья рот ладошками. Вопрос ей показался очень важным, а выбор жестоким. Как же она одного сыночка другому предпочтет?

Марфа встала и, улыбаясь, предложила:

– Ты глаза закрой, и кого я тебе дам, тот и будет первым. А второго пока на руках подержу.

– Подержит она! – возмутилась Минева. – Приберись тут, тазы вынеси. Грязными ручищами подержит!

Минева в жизни не мыла рук, принимая роды. Но доктор под личным присмотром заставил три раза намылить и смыть, грязь из-под ногтей вычистить. Утешало только то, что и Анфиса прошла то же омовение.

Василий Кузьмич как часовой ходил туда-сюда у запертого буфета. Доктор был зол.

– Они ребеночков хотят кормить, – наябедничала Нюраня.

– К черту! – отмахнулся доктор.

– Мужики-то еще не знают! – вспомнила она.

И поскакала делиться новостью с Петром, дядей Акимом и дядей Федотом, которые уже несколько часов торчали во дворе.

Степан не знал, что у него родились дети. Утром, когда уходил из дома, Парася проводила его как обычно. Вернулся он затемно, домашние

ужинали. Поздновато, да мало ли, какие у них тут обстоятельства. Параси не было, но в последнее время мать Парасю часто отправляла отдыхать. Сама с Нюраней и Марфой подавала на стол, мыла посуду.

Степан поздоровался и пожелал приятного аппетита. Ему ответили с непонятым смешком, отвели глаза, только Петька гыгыкал и показывал зубы. Степан не успел спросить, в чем дело, как из их комнаты послышался детский плач.

Известно, что, когда баба рождает, мужики пребывают в состоянии паники и растерянности. Петр и работники, пока сидели во дворе, выкурили столько самосада, что в глазах позеленело. Так ведь это еще не их собственная баба рожала. Перепсиховавший, очумелый до блаженности отец только что родившегося ребенка часто бывает нелеп и потешен. Поэтому всем и хотелось посмотреть, как Степан отреагирует на новость. Он не обманул их ожиданий.

Побледнел, глаза выкатил и замамкал:

– Мамаша! Мамаша! Парася? Она родила?

Анфиса шумно втянула чай из блюдечка и кивнула со спокойным достоинством:

– Родила.

– Кого? – просипел Степан, от волнения потеряв голос.

И все покатались от хохота. Кроме Марфы, которая смотрела на Степана с любящей улыбкой. Но он и обычно-то к Марфе не приглядывался, а тут и вовсе ему было не до невестки.

– Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку, – весело сообщила теща Наталья Егоровна, тут же присутствовавшая.

– Двух зверушек, – уточнила хихикающая Нюраня.

Степан шуток сейчас не понимал:

– Мамаша?

– Иди уж к ним, – смилостивилась Анфиса. – Бог тебе сыночков послал.

– Насчет бога я бы поспорил, – возразил пьяненький доктор.

– Степан рук не помыл, – сказала ему Нюраня, которая в последнее время взяла привычку все учителю доносить.

– Да разве с вами, чумазыми, справишься? – благодушно икнул Василий Кузьмич.

Еремей напрасно надеялся, что после рыданий и акта небывало страстной любви его жена переменится – станет мягкой, покладистой, чувственной. Вечером Анфиса была тихой и благодушной, а наутро как

прежде – строгий командир, придирчивый генерал, злая баба.

Анфиса, хотя и пережила небывалое потрясение и счастье, выводы сделала противоположные тем, которых ожидал Еремей. Анфисе было стыдно за слабость – точно как после того, когда пьяная сидела в луже и дурашливо смеялась. Ее стыд правильнее было бы назвать досадой, потому что стыдиться, как стыдятся обычно люди, Анфиса не умела. А свою досаду срывала на окружающих. Она отдавала себе отчет в том, что пиханье с мужем оказалось небывало приятным, даже заорала в конце. Но эта приятность есть срам. Много лет назад ей рассказывали, что продажные бабы специально стонут под мужиками, чтобы больше денег получить. Но она-то, Анфиса, не шлюха позорная и чреслами не зарабатывает! Более такое повторяться не должно.

Муж ловил гневные взгляды Анфисы и не понимал, в чем еще провинился. А потом выкинул из головы мысли о жене. Он давно научился жить в своем внутреннем мире, выглядывать из него по крайней необходимости и на короткое время.

Анфиса орлицей кружила над внуками, Прасковья теперь ее интересовала только как кормилица. Родит ли еще невестка, неизвестно, плохо она беременность переносит, а наследники (сразу два!) – вот они, живые, в зыбке качаются. Анфиса донимала дохтора, требовала, чтобы он каждый день по несколько раз осматривал младенцев.

– Помилуйте, Анфиса Ивановна! – не выдержал Василий Кузьмич. – Что вы с ума сходите? Нормальные детишки. Мелковаты, да близнецов крупных и не бывает. Несмотря на то что у Прасковьи был токсикоз в последних триместрах, на плодах это не отразилось. Все рефлексy в норме, дисплазий суставов не наблюдается, яички опустились...

– Куда? – вырвалось у Анфисы.

Из последней фразы она поняла только слово «яички».

Доктор расхохотался, и она почувствовала себя дура дурой, как много лет назад, когда привезла к Василию Кузьмичу сына Петра с его неудалой елдой.

– В мошонку, сударыня, опустились, что и требуется, на пол не упали и не закатились под печь.

На следующий день Анфиса нашла повод отомстить Василию Кузьмичу за насмешки. Во дворе она столкнулась с Никифором Коростылевым, пятидесятилетним бондарем. Никифор брел к воротам, прихрамывая и враскоряку.

Поздоровавшись, Анфиса спросила:

– Занемог?

– Ох, не говори, замучили прыщи, спину и ниже усыпало, ни сесть, ни встать. Спасибо доктору и твоей дочке, вроде полегчало.

Анфиса бровью не повела, попрощалась и пожелала выздоровления. Но в анбулаторию влетела фурией.

– Вы что же это, господин хороший, себе позволяете?

– Что? – удивился Василий Кузьмич.

– За все мои вам благоденствия, за хлеб-соль и бызэ? За анбулаторию, которая мне нужна как собаке коромысло? Не ожидала я от вас такой пакости и позора моему дому!

– Да в чем дело?

– А в том, что мою дочь малолетнюю вы заставляете на мужские жопы смотреть и прыщи на них давить!

– Но позвольте...

– Не позволю! Не позволю тут срам разводить!

Нюраня нервно, от испуга, рассмеялась.

– Весело тебе? – накинулась на нее мать. – Ну, так я тебе веселья добавлю!

Она больно схватила дочь за ухо и поволокла на улицу. Нюраня верещала, следом бежал, размахивая руками, с криками: «Дичь! Это дичь!» – доктор.

Аким и Федот, работавшие во дворе вместе с Еремеем, недоуменно переглянулись. По их разумению, дичь – убитый зверь или птица.

– Кто-то охотился? – спросил Аким хозяина.

– Известно, кто тут охотница. На людей, – ответил Еремей. – Дичь – это дикость. Вот уж точно.

В доме скандал продолжился. Брошенная на лавку Нюраня имела неосторожность сказать, что все органы у человека только части тела. (Так ей Василий Кузьмич говорил, и она с ним была полностью согласна.) За «органы» Нюране еще больше досталось. А Василию Кузьмичу, который слова не мог вставить, было обещано, что все его порошки-микстурки будут выброшены и ни один калека больной, ни один нюхлый больше не войдет в калитку их двора.

– Не было у нас никаких нюхлых! Это что еще за диагноз? – наконец прорвался через Анфисины крики доктор.

Нюхлыми в Сибири называли слабых и болезненных людей.

Анфиса заткнулась, только когда, разбуженные ее криками, заплакали близнецы.

Потом Нюраня долго рыдала, и умоляла мать, и на коленях стояла. Василий Кузьмич тоже каялся, призывал Анфису к человеколюбию и давал

обещания: ни с переду, ни с заду ниже пояса ни одного пациента мужского пола Нюраня не увидит, а он будет осматривать близнецов хоть каждый час.

– Еще раз какое нарушение найду, – сдалась, но пригрозила Анфиса, – закрою анбулаторию на веки вечные!

Василий Кузьмич и Нюраня, оба в белых халатах, он всключенный, она зареванная, со вспухшим красным ухом, быстро-быстро закивали. Но обещаний своих не придерживались, поскольку требования Анфисы Ивановны были ненаучны и глупы. Да и Анфиса после участия Нюрани в родах Марфы не контролировала работу дочери в анбулатории.

Близнецов назвали Иван и Василий. Крестили втайне от Степана. Он, конечно, узнал потом, Прасковья рассказала, но язык не повернулся жену и мать упрекать за то, что нарушили его запрет. Мать пылинки с внуков сдувала, вся семейная жизнь теперь крутилась вокруг младенцев. Это было нетипично для крестьян, которые не привязываются сердцем к новорожденным, ведь те часто умирают. Чтобы по деревне языками не чесали, не подрывали авторитет безбожника и по должности начальника Степана, крестными отцами стали Аким и Федот.

Через две недели начались роды у Марфы, длились они почти сутки и были очень тяжелыми.

Болезненные схватки шли одна за другой, а потуг не было. Когда же потуги начались, оказались очень слабыми, не могла Марфа вытолкнуть из себя ребенка. Она совершенно измучилась. День страдала, губы искусала, но не пикнула. Мелкие сосуды в глазах у нее полопались, белки окрасились кровью. Влажные от пота волосы облепили голову. К вечеру Марфа стала кричать – выла страшно, по-животному. Умом как будто тронулась: в перерывах между схватками бормотала молитвы, в чем-то каялась и все просила Бога не наказывать ее. Или вдруг хватала Василия Кузьмича за руку:

– Доктор! Хоть шипцами! Не могу больше, спасите!

Закрывала глаза и проваливалась в короткий сон, чтобы через минуту снова оглушить всех звериным воем.

Акушерские щипцы у Василия Кузьмича имелись, хотя в России едва ли насчитывался десяток таких инструментов. Молодой омский доктор прислал щипцы Василию Кузьмичу без сожаления – применять их он не умел. Но и сам Василий Кузьмич использовал их всего пять раз, из них четыре – неудачно. И было это сто лет назад. Очищенный Еремеем от ржавчины, отполированный до металлического блеска, сей инструмент мог

спасти роженицу и ребенка, но мог и покалечить.

– Потерпи, детка! – гладила невестку по плечам и рукам Анфиса.

Марфа смотрела на свекровь безумными кровавыми глазами, не понимая, что впервые Анфиса Ивановна проявляет к ней ласку и жалость. Не пожалеть эту страдающую женщину мог только выродок. Но Марфе сейчас не нужно было сочувствие, только избавление от чудовищной боли. Любыми средствами, хоть смертью.

– Убейте меня! – молила она. – Убейте, я заслужила!

– Ну что ты, голубушка! – говорил доктор. – Все будет хорошо, скоро родим... Так, потуга! Все по местам!

Бабка Минева, которой не по возрастным силам были такие нагрузки, задремала на стуле в углу, но вмиг подхватила. У Анфисы от криков невестки звенело в голове и ноги усталые дрожали, но она четко выполняла указания доктора.

– Тужься! Сильнее! Еще сильнее! Не в голову силу гони, а вниз!

– Сри! – вдруг заорала Минева. – Сри из жопы, как при запоре!

Марфа старалась. Часть прямой кишки у нее вывалилась и напоминала какой-то чудной цветок из плоти.

– Ноги не выпрямлять! – командовал доктор. – Не сводить колени! Держите ей колени в стороны. Еще! Еще! Давай! Сильнее тужься!

Казалось, на искаженном красном лице Марфы сейчас, как в глазах, тоже лопнут сосуды, порвется кожа и всю ее зальет кровью.

– Нет! – с досадой произнес Василий Кузьмич. – Не получилось. Всё, отдыхайте.

– Деточек рожать не веточки ломать – тяжелехонько, – пробормотала бабка Минева, вернулась на стул и тут же снова уснула.

Анфиса села на кровать к невестке, взяла ее руку, стала утешать.

За стенами комнаты тоже было беспокойно. В полдень Нюраня прибежала к брату в правление:

– Марфа рожает, а Петька очумел! Тятя с ним и так и сяк, а Петька невменяемый!

Степан поспешил домой.

Его младший брат Петр, как и отец, большую часть времени пребывал в своем мире. Но если мир отца был отчасти понятен – красота и всякие художества, – то где витает брат, Степан и предположить не мог. Петр был очень слаб волей, в детстве крайне ранним – любая обида вызывала плач и истерики. С возрастом он научился прятаться от обид, проблем и любых неприятностей в раковинку. Наружу, как у улитки, только усики торчат и

гыгыкают. Петька не боялся крови: забивал птицу, бычков и свиней, видел, как расстреливают людей, и припадков с ним не случилось. Но его охватывала паника, если угроза жизни нависала над кем-то из близких. Очевидно, во внутреннем мире-крепости Петра мать, отец, сестра, брат и жена были вроде частокола, за которым он прятался и прореха в котором грозила вторжением неприятеля, несущего смерть. Степан любил брата и жалел. Петька, конечно, инвалид психический, но ведь добр, покладист и не приставуч.

Петька забился в баню. Сидел в уголке на полатах, прижав коленки к груди, тряся и безостановочно гыгыкал, только без улыбки, а точно его тошнило впустую.

Тут же находился и отец.

– Я уж язык сломал его уговаривать, что, мол, это обычное бабье дело, что там доктор.

Степан помолчал задумчиво, а потом вдруг предложил:

– Не отправиться ли нам на рыбалку? А, тятя? Петька?

Петр затих и уставился на Степана с надеждой. Петя очень любил рыбалку. Наверное, более всего ему нравилось сидеть с удочками в одиночестве на берегу реки. Но мать Петю на рыбалку не пускала, особенно одного. Боялась, что утонет. Она сама воды природные не жаловала и не переносила, когда дети в них плещутся.

– А снасти где? – включился в игру отец. – Небось, перепутанные?

– Нет-ка, не перепутанные, – подал голос Петька, – в анбаре лежат.

– Омуля енисейского еще можно захватить? – спросил Степан.

– Надо к зимовальным ямам идти, – свесил ноги Петр, – в них уже стерлядь зашла. А щурят, чебока да леща всяко наберем запросто. Гы-гы.

– Дык спрыгивай! – позвал Степан. – Чего забился? У тебя на рыбу рука легкая и удачливая. В прошлом годе какой улов был! Наморозили штабелей стерлядок, что тех дров.

Петр, забыв свои страхи, радостно гыгыкал, предвкушая любимое занятие.

– Вот и славно. – Еремей, как маленького, погладил его по голове. – Эх, Петя! Пьяница проспится, а дурак никогда.

Степан наказал Нюране прибежать за ними, когда у Марфы все закончится. Но сестра до темноты так и не появилась.

Предчувствуя недоброе, Еремей на обратной дороге шепнул старшему сыну:

– Не надо Петру домой, отведи его к тетке.

– Лучше к теще – она не тараторка, а тетка вопросами замучает. Петь,

а Петь, – позвал Степан брата. – Твоего улова большая часть, как насчет поделиться с добрыми людьми? Заглянем к моей теще на блины? Ох и славные она блины печет! И рыбу нам зажарит.

Петр обрадованно закивал – он боялся идти домой. Но все-таки спросил:

– А как же Марфа?

– Ты Марфе сейчас не помощник, – ответил отец. – Идите, сынки, погостевайте.

Туся лишних вопросов не задавала, споро почистила и зажарила рыбу, поставила на стол крепкую настойку. После трех рюмок Петр ослонел и заснул, уронив голову. Он всегда был слаб на спиртное. Степан перенес брата на кровать.

Во дворе на лавке сидели Аким и Федот. На молчаливый вопрос Еремья они помотали головами: еще не кончилось. Переступив порог, он услышал надрывный хриплый вой Марфы. Ушел в свою комнату, хотел почистить, но не смог. Лежал, не раздевшись, на постели и думал: «Что же я наделал?!»

Через некоторое время его позвали.

Анфиса и Минева понимали, что роды тяжелые, но только Василий Кузьмич знал, как плохо обстоит дело. У него не было родостимулирующих препаратов, Миневины травы, которые он в конце концов позволил дать Марфе, вызывали схватки, но не способствовали полному раскрытию шейки матки. В условиях больницы он давно сделал бы операцию, но чревосечение здесь? Не рискнул, да и поздно уже было. Воды отошли несколько часов назад, а родовая деятельность не наступала, и это было крайне плохо. Он в очередной раз послушал сердце плода – оно билось, но тоны явно изменились.

– Ну, все! – решительно сказал доктор, убрав трубочку от Марфиного живота. – Игры закончились! Слушать меня и не пищать! Анфиса! – Он впервые пропустил ее отчество. – Еще лампы несите, нужно много света. Простыню, веревку крепкую. И позовите Нюру.

– Как Нюру? – поразила Анфиса.

– Делайте, что я сказал! – визгливо закричал Василий Кузьмич и топнул ногой. – Пусть мужики придут, надо кровать переставить. Минева, хватит дрыхнуть, ты на работе! Прикрой роженицу! Что, так и будет мандой сверкать, когда мужики придут? Изножье мешает, отломать его к чертовой матери!

Кровать делал Еремей, изголовье и изножье были настоящим произведением искусства.

У Нюрани при взгляде на Марфу что-то тоненько и испуганно заклокотало в горле. «Ни за что рожать не буду!» – подумала девочка.

– Па-апрашу персонал без обмороков тут! – воскликнул Василий Кузьмич и добавил спокойным голосом: – Нюраня, я на тебя надеюсь. Инструменты принесла? Прокипятила? Разложи вон там, чтоб под рукой, подавать будешь.

Аким и Федот старались не смотреть на Марфу, когда переставляли кровать. Еремей чуть не застонал, увидав помирающую невестку, которую сам обрюхатил. Руки у него дрожали, но пилил дерево он с яростной силой, словно хотел искупить грех, ломая свое произведение.

От изножья по указке доктора остался небольшой бортик. Кровать поставили поперек комнаты, теперь подход к ней был с двух сторон. Лишнюю мебель мужики вынесли и сами убрались. Сложенную широкой лентой простыню Василий Кузьмич перекинул Марфе через живот и концы велел держать Анфисе и Миневе. Роженица была совсем плоха, измучена и не понимала, что происходит.

– Нашатырь ей! – скомандовал доктор.

Нюраня открыла пузырек и поднесла Марфе к носу. Та вздохнула, дернулась, из глаз брызнули слезы.

– Прояснилось? – спросил доктор. – Нюраня, еще пару раз, до полной ясности сознания. Любите вы, барышни, нюхательные соли. Вас хлебом не корми, дай в обморок грохнуться и солей нанюхаться.

– Не надо больше! – хрипло взмолилась Марфа.

– О! Теперь ты молодцом. Бабы, двигаем ее вниз, тащим, тащим, пятками упирается в бортик, шире пятки, еще шире, колени согнуть... Славненько.

Василий Кузьмич сорвал картину с противоположной стены, отбросил в сторону, проверил крюк на прочность. Картина была нетяжелой, но крюк вбит на совесть. Если уж сибиряк загоняет гвоздь в дерево, то на века. Доктор перебросил середину веревки на крюк, концы намотал Марфе на кисти.

– Слушай меня внимательно, девонька! Тебе надо постараться: что есть мочи, когда я скажу, упираться пятками и тянуть за веревки. Уже скоро все кончится, терпеть недолго осталось. Но тебе надо все силы вложить! Все! Которые были, есть и будут. За тебя никто не родит – ни поп, ни царь, ни Бог. Я тебе помогу, очень сильно помогу, но ты... – И вдруг он снова закричал капризно: – А если ты не постараться, то я тебе... не знаю что!

Хвост собачий вместо носа пришью! – Доктор взял стул, с громким стуком поставил напротив разведенных коленей Марфы и уселся. – Хорошо хоть кровати высокие, – бурчал он, – а то я однажды у тунгуски на земляном полу в юрте роды принимал, три часа вокруг нее на пузе ползал. Так! Внимание! Пошла потуга! Никто не шевелится! Марфа, ты-то как раз работаешь... но не в полную силу, не в полную, я сказал!

Марфа рычала, огромный тугой свинцовый шар с дикой болью рвался из нее наружу, а доктор призывал:

– Хватит! Не тужься! Дыши мелко ртом!

Нюра видела, как в необычайно расширившемся лоне Марфы на несколько секунд показалось детское темечко и снова скрылось.

– Отличная потуга, – явно обрадовался Василий Кузьмич, – а вы тут мне придуривались! Ну, бабы! Пока на вас не наорешь, вы и родить толком не можете. – Не оборачиваясь, он отвел руку в сторону, к Нюране. – Скальпель.

Она видела, как доктор полоснул от лона до заднего прохода, быстро промокнул кровь, оставив салфетки ее впитывать.

– Ы-ы-ы... – замычала Марфа.

– Тужься! Сильнее! – скомандовал Василий Кузьмич и, расставив пальцы веером, ввел их в Марфино лоно. – Еще сильнее, едрить твою бабушку! Бабы, повисли на простыне! Давите на живот! Тужься, гадина! Тужься, девочка! Еще!

Орали все.

– Давай! – кричала Нюраня и прыгала на месте.

– Сри! – хрипела Минева.

– Ну-у-у! – по-волчьи выла Анфиса.

Она не рассчитала, что весит больше бабы Минева, да и силы у нее значительнее – едва не перетянула повитуху на другую сторону. У Минева ноги оторвались от пола, и она поехала прямо на живот Марфе. Но это было уже не важно.

Они так орали, что не слышали доктора, велевшего:

– Всё, заткнитесь!

В тот самый миг, когда Марфа почувствовала, что мочь ее кончилась, всех нечеловеческих сил, которые она собрала, не хватило, тугой свинцовый шар выскользнул из нее. И сразу наступило блаженное облегчение.

Нюраня наблюдала за доктором, совершившим круговое движение руками и с возгласом «Оп-ля!» извлекшим ребенка. Младенец был ужасен – синюшный, весь в крови и в какой-то пене. «Урод!» – испугалась Нюраня

и не услышала приказа доктора.

– Отсос, я сказал! Быстро!

– Что? – растерялась Нюраня.

– Спринцовку, дура!

Она быстро вложила ему в протянутую ладонь резиновую грушу.

Доктор ввел трубочку спринцовки сначала в одну ноздрю младенца, потом в другую, отсосал содержимое. А затем, к ужасу женщин, схватил ребенка за ножки, опустил вниз головой и звонко шлепнул по спине.

Младенец чихнул, вякнул, а когда доктор вернул его в нормальное положение, заплакал громко и басовито.

Василий Кузьмич положил младенца, все еще связанного пуповиной с матерью, на кровать и устало плюхнулся на стул.

– Ну, Марфа! Вырастила у себя в животе великана. Это какой-то Гаргантюа среди младенцев. У него голова как астраханский арбуз!

Нюраня поняла, что младенец никакой не урод, а, напротив, чемпион.

Если бы в этот момент снесло крышу дома и на всех просыпался золотой дождь, они не были бы счастливее. Тяжелейшее испытание закончилось победой – новый человек появился на свет.

Анфиса не плакала, но глаза ее увлажнились. Во второй раз за короткое время она пережила взрыв величайшей радости. Когда своих рожала, не помнила таких взрывов. С внуками, оказывается, по-другому – пронзительнее.

Нюраня плакала, потому что было очень страшно, а теперь хорошо.

Минева хлюпала носом:

– Уж сколько я приняла! А каждый раз как первый.

– В этом я с вами соглашусь, коллега, – кивнул доктор. – Но если Анфиса Ивановна мне сейчас не поднесет рюмочку амброзии, то я за себя не ручаюсь. А с вашей невесткой мне еще возни предстоит. Пуповину кто будет перевязывать? – прикрикнул он на «коллегу». – Пушкин?

– Амброзия кончилась, а настойки принесу, – улыбнулась Анфиса и вышла из комнаты.

В горнице Ерема и Степан играли в шахматы. Давно Анфиса не видела их вместе за этой игрой.

– Разрешилась, – ответила она на немой вопрос. – Мальчик, большой, славный.

Муж и сын дружно и облегченно выдохнули, словно все это время себе в дыхании отказывали.

– Марфа как? – спросил Ерема.

– Жива, куда денется, – ответила Анфиса, открывая буфет и щедро

наливая доктору в большую рюмку.

Марфе дали горячего сладкого чая. Доктор и Нюраня, наскоро поужинав (доктор еще выпил), до рассвета зашивали роженицу.

– Я-то ее аккуратно снаружи разрезал, – сказал Василий Кузьмич Анфисе, – а изнутри она некультурно порвалась, штопать и штопать надо.

Если бы не Анфисино предчувствие, если бы она не добыла доктора, Марфа вряд ли благополучно разродилась. А если бы и повезло, то, разорванная внутри, долго мучилась бы женскими недугами. Сколько таких баб по деревням? Проще сказать, кто без хворей по женской части, чем перечислить тех, кто родил без последствий. Зато у Анфисы теперь еще один внук! А всего трое! Привалило счастье. Так ведь по делам заслуженное!

Во время операции Марфа спала. То ли от усталости до омертвения, то ли под действием паров эфира, который доктор накапал на тряпочку и дал Марфе подышать. Хотя как можно спать в такой ужасной позе, Нюраня не понимала. Марфа была похожа на свинью, приготовленную к свежеванию. Ноги высоко задраны к потолку, разведены в стороны, растяжками веревок привязаны к шкафу и к полке над окном.

Василий Кузьмич подробно объяснил Нюране задачи ассистентки: вставлять нитку в хирургическую иглу, подавать инструменты, тампоны, салфетки, правильно направлять свет. Доктор подробно отвечал на все вопросы Нюрани, показывал ей устройство женских половых органов, прочитал маленькую лекцию о зачатии, протекании беременности и этапах родов. Все было совсем не так, как говорили подружки. Они совершенно не представляли правильной картины! Да и взрослые женщины наверняка тоже не представляли.

– Но ведь очень плохо, что никто этого не знает! – с нажимом сказала Нюраня.

– Плохо, конечно. Главная беда нашего народа – отсутствие просвещения, в этом я соглашусь с демократами.

– А демократы что лечат?

– Они думают, что могут вылечить общество. Все, закончили. Теперь у Марфы там все как было или даже лучше. Отвязывай ее и прибери инструменты. Я иду спать. Выпить рюмочку? Странно, не хочется. Твоя мать мне, часом, какой-нибудь гадости в водку не подсыпает?

– Нет-ка, не подсыпает, – заверила Нюраня. – Тогда бы она для вас отдельный графинчик держала, а она из общего наливает.

– Да, так устал, что усну мертво. Или, как у вас говорят: ухряпался,

теперь надо...

– Уторкаться.

Утром Степан пришел к теще и растолкал спящего Петра:

– Дрыхнешь, братка? А у тебя там сын родился.

– Какой? Где? – спросонок захлопал глазами Петр.

– Да уж не в лесу, дома родился. Во-от такой! – широко развел руки в стороны Степан. – Ну, или чуть поменьше. Богатырь, в нем весу, как в моих обоих. Ты массой взял, а я числом. Но мои еще наберут объему. Куда ты, куда? – захохотал Степан в спину брату, который ринулся из комнаты. – Без портов-то!